
Виктор Перельман
Покинутая Россия
2
Крушение

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КРУШЕНИЕ



Издательство "Время и мы"

1977

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

На этот раз я выходил из райкома в превосходном настроении. В боковом кармане приятно оттопыривалась только что врученная мне кандидатская карточка. Даже на фото против обыкновения я получился вполне респектабельным — такая уверенная и довольная собой личность.

Секретарь райкома Рябинин держался легко и весело. Задал мне один-единственный вопрос — читал ли я классиков марксизма по первоисточникам. На что я ответил, что читал. А Гегеля и философию сдавал дважды — один раз в Юридическом, другой раз в Полиграфическом институтах.

— А себе что-нибудь оставили? — засмеялся Рябинин и, оглядев членов бюро, сказал: — Что, товарищи, есть предложение принять — вполне образованный марксист.

Это были последние дни марта 1956 года. Стояла ранняя весна. Под лучами теплого мартовского солнца таял снег, и на мостовых появлялись первые ручьи. Я не спеша шагал по улице Чехова и, заложив за спину руки, победно оглядывал прохожих. Жизнь складывалась не так уж плохо. И все благодаря тому, что я не пал духом. Конечно, Ликовенков, воспользовавшись своими

связями в МК партии, устроил нам с Алексеем Аустерлиц. Но что, Алексей разве перестал от этого быть личностью и разве дело не оборачивалось так, что победитель теперь вынужден был служить побежденному, издав приказ о моем назначении корреспондентом московского отдела радиоинформации. И что плохого в том, что вера в партию и XX съезд совпала у меня с верой в самого себя.

Молодость наивна. Но в том и сила ее ,что о бытье она способна мыслить простыми и однозначными категориями. Философия жизни не для нее. Возможно, поэтому молодость не знает сомнений. И именно потому она счастлива.

В студенческие годы я действительно читал кое-что Гегеля. Я мог, потрясая своих хорошеньких приятельниц эрудицией, размышлять вслух о его триаде и законе отрицания отрицания, доказывая, что гегелевский тезис, антитезис и синтез и есть суть бытия. Единственно, над чем не задумывался, что сам я лишь один из подопытных кроликов, на которых, сколько существует мир, диалектика выделывает свои нескончаемые выкрутасы. Я был мудрым гегельянцем для других, но сам для себя оставался наивным метафизиком, полагающим, что главное в жизни быть сильной личностью и уметь непреклонно идти к цели. Теперь, оглядывая прошлое, вижу, что я и есть лучший пример отрицания отрицания, ибо всю жизнь менял кожу ради того, чтобы найти самого себя.

Начать хотя бы с 56-го года. Вступив в партию и обретя веру, я почувствую, как под теплым мартовским солнцем у меня в жилах заиграет кровь, и навсегда отрекусь от того разуверившегося неудачника, кем я был в течение нескольких лет после окончания института.

Казалось, наступает новый этап в жизни, несущий с собой личное удовлетворение, веру и идеалы. Но на смену 56-му году придет осень 57-го, когда без всяких оснований, а точнее лишь потому, что еврей, меня привлекут к партийной ответственности по так называемому делу Великовского.

Оставшись на полгода без работы с выговором от КПК и без надежды устроиться, я несколько изменю свое мнение о том самовлюбленном карьеристе, который еще недавно с видом Наполеона выходил из Свердловского райкома партии.

Пять месяцев окажутся достаточными, чтобы я на собственной шкуре почувствовал гримасы гегелевской триады. И далее все пойдет в таком же роде — мой неугомонный дух будет искать для того, чтобы отрицать, и отрицать найденное, чтоб продолжать искать, пока не обретет сегодняшнее свое состояние, которое на языке Гегеля можно было бы выразить так: идея путем длительного саморазвития постигает самое себя.

Такова в общем виде моя философская синусоида, которую далеко не просто уложить в рамки реальной жизни.

Жизнь куда сложнее философских систем, и если, по образному выражению Бруно Ясенского, человек и меняет кожу, то никому не дано проследить, как и когда именно он это делает. Поэтому можно, конечно, сказать, что, когда весной 57-го года мне позвонил заведующий приемной "Советской России" Безуглов и сказал, что у него есть потрясающий материал для фельетона и что этот материал мне тотчас принесет сам пострадавший, Лауреат Сталинской премии Великовский, — так вот, если рассматривать все происшедшее как простую цепь случайностей, — можно, разумеется, сказать, что именно в этот день и была заминирована моя вера в идеалы XX

съезда, которая с такой силой подорвется на заседании Комитета партийного контроля. Но если быть более последовательным диалектиком, то нельзя не предположить, что эта мина была подложена гораздо раньше. И если еще не в военном лагере, то уж наверняка ее часовой механизм затикал, когда я очутился в московском отделе радиоинформации и когда мои мечты о журналистской деятельности столкнулись с реальной жизнью.

МОСКОВСКОЕ РАДИО

Ко дню моего перехода на новую работу в моей голове уж созрел идеал журналиста.Я никогда его не видел в жизни и, уж во всяком случае, не увидел в редакции радиоинформации, но именно таким хотел стать сам — воителем и правдолюбцем, борющимся с пороками общества и действующим по голосу совести. По-видимому, во мне уже тогда причудливо сочетался неуживчивый критический дух с наивным идеализмом ребенка, неустанно мечтающего о каком-то прекрасном и неведомом ему поле деятельности, где сможет наконец проявить себя его активная и жаждущая борьбы натура.

В отделе радиоинформации я застал воителей особого рода, которые весь свой ратный пыл тратили на борьбу друг с другом.

К марту 56-го года здесь было сменено руководство, и на место бывшего председателя московского радиокомитета (так он назывался до преобразования в отдел радиоинформации) бывшего моряка и журналиста Калмыкова пришел бывший завсектором печати МГК КПСС Дмитрий Семенович Пахомов.

Калмыков был талантливый остряк, балагур и любимец коллектива. Хотя в этом коллективе были и группы, и группки, но Калмыков благодаря личному авторитету и обаянию умел пресекать интриги на корню. Единственно, что за ним числилось, — он был не дурак выпить, что, впрочем, никак не лишало гармонии его цельную веселую натуру,но что помогло Ликовенкову с треском его снять с работы.

Дмитрий Семенович был длинный, глуховатый и слегка заикающийся человек. Он не пил, никогда не работал журналистом. И до него, как до жирафы, на которую внешне он был очень похож, все доходило в замедленном темпе. К чести Дмитрия Семеновича, он этого обстоятельства и не старался скрыть. И когда на совещаниях, которые он проводил каждый день, разгорался спор и кто-нибудь чего-нибудь недопонимал, он любил вставлять одну и ту же не лишенную остроумия фразу: "Ну, товарищи, это, кажется, понял даже я".

Что касается его взаимоотношений с работниками, половину которых составляли евреи после погрома, устроенного в 50-х годах на Всесоюзном радио, то он недвусмысленно давал понять, что такой "несправедливости" не потерпит и так же, как и на Всесоюзном радио, проведет чистку у себя.

Начал с самого пробивного и несимпатичного ему Исая Осиновского, но тотчас потерпел фиаско. Маленький Исай, уволенный Дмитрием Семеновичем, вскоре восстановился по суду и после восстановления написал на Дмитрия Семеновича жалобу в ЦК.

Тогда Дмитрий Семенович перешел к длительной атаке и стал ущемлять интересы своих противников. В агитпроп ЦК пошли анонимные письма. Борьбу против Пахомова и "пахомовцев" теперь возглавил старый коммунист Михаил Михайлович Глушков. Для этого у

него были свои, сугубо личные причины. Михаил Михайлович считал себя непризнанным сатириком. Но, не сумев опубликовать произведение своей жизни "Живые души", насчитывавшее свыше тысячи страниц и 170 персонажей, он обрушил свою желчь на Дмитрия Семеновича и его окружение, переставшее допускать Михаила Михайловича в эфир.

В агитпроп ЦК уже шли не только письма, но и анонимные пьесы. Главными героями были сам Дмитрий Семенович и инструктор отдела пропаганды МК партии Александра Петровна Королева, курировавшая отдел радиоинформации. В этих пьесах Пахомов и Королева вели нескончаемую войну с корреспондентами Левитиным, Лерманом, Майзлиным, Осиновским. Борьба эта, как правило, заканчивалась одним и тем же вопрошающим рефреном Дмитрия Семеновича: "Так когда же, Саша, мы прикончим эту компанию, несет она России одни только беды?"–"Скоро, Дима, скоро, дай только, милый, срок!"

Я не уверен, что Михаил Михайлович, оказавшийся в конце концов в психиатрической больнице, уже тогда не был душевнобольным, хотя он и возглавлял штаб народной дружины Свердловского района.

Но совсем недавно я о Глушкове вспомнил снова, когда попался мне роман Ивана Шевцова "Во имя отца и сына". Было много общего в произведениях сумасшедшего правдолюбца Михаила Михайловича Глушкова и черносотенных писаниях Шевцова, хотя одни оседали в архивах МГК и ЦК, а другие шли массовыми тиражами на книжный рынок. И тот, и другой – каждый по-своему – отражали реальные настроения, царившие среди многих власть имущих советского общества.

Об этом я еще буду писать, а пока хотел лишь представить тот коллектив "воителей и правдолюбцев", в среде которого я оказался в марте 56-го года.

Надо было видеть лицо Дмитрия Семеновича, когда после приказа Ликовенкова я пришел выяснить, с какого числа мне выходить на новую работу.

— Как фамилию-то назвали — Перельман? — прижал ладонь к уху Дмитрий Семенович. — Где-то я уже слышал эту фамилию, а? — Он молча почесал затылок. — Ну и, значит, хотите выходить на работу... А куда выходить-то хотите?

— Как куда? В отдел радиоинформации.

— Ну, это понял даже я, — улыбнулся Дмитрий Семенович. — А вот на какую штатную "единицу" хотите выходить? У меня ведь нет ни одной — как говорят доминошники, "пусто-пусто"...

Так и ушел я, не солоно хлебавши. После чего последовала целая серия звонков — от Ликовенкова Дмитрию Семеновичу, от Ликовенкова в МК КПСС. Из МК партии опять Дмитрию Семеновичу, пока тот, не выдержав наконец натиска, не дал согласия на мое зачисление.

Когда я пришел к нему во второй раз, он, заикаясь, сказал мне "здравствуйте" и тотчас подвел к развешанной по всей стене карте Московской области. Он долго что-то выискивал. Наконец удовлетворенно ткнул ручкой в верхний угол:

— Во!

— Что "во", Дмитрий Семенович? — спросил я, впрочем уже догадываясь, что означал этот его жест.

— Во где будете работать, — простодушно улыбнулся Дмитрий Семенович, не замедлив подтвердить мои предположения.

Он сказал, что для всестороннего освещения жизни села после Сентябрьского пленума ЦК КПСС создается группа кустовых корреспондентов в составе товарищей Осиновского, Лермана, Левитина, Майзлина и В..в..в...ас, — закончил Дмитрий Семенович все с той же озарявшей его лицо улыбкой.

Через несколько дней я выехал в свой "куст", объединявший Высоковский, Клинский и Солнечногорский районы. И, как мне было велено, передал по телефону первые шесть информаций о ходе сева в западных районах Московской области. Над каждой из них сидел по целому вечеру, по десять раз переставлял фразы, обсасывая каждое слово.

Но когда приехал в Москву, то с огорчением узнал, что прошла из них только одна и притом только три строки из нее, а именно, что в колхозе "Борец" (или имени Ленина), не помню точно, сев яровых прошел в сжатые сроки и при хорошем качестве полевых работ.

Присутствовавший рядом Исай Осиновский саркастически усмехнулся и похлопал меня по спине:

— Наивный ребенок, он думает: главное написать. Лично я за неделю сдал 12 материалов, но ни один не пробил сквозь кордон пахомовцев.

Подошел Михаил Михайлович, как всегда с невозмутимым лицом щелкающий семечки, семечки были его страстью. И, пошептавшись о чем-то с Исаем, вдруг повернулся ко мне:

— Пора, молодой человек, и вам включаться. Помните, отсидеться никому не удастся. Вопрос стоит так — или мы пахомовщину, или пахомовщина — нас.

Появился Дмитрий Семенович и, сделав вид, что он меня не видит, подошел к Осиновскому.

— Исай Борисович, вы же сказали, что вы болен и не можете ехать на куст.

— Это утром я был болен, Дмитрий Семенович, а сеичас уже здоров.

— Вы болен, Исай Борисович, и потому прошу оставить редакцию.

— Я абсолютно здоров, Дмитрий Семенович.

— Ну хорошо! — сказал Дмитрий Семенович и удалился.

Продолжая с невозмутимым лицом щелкать семечки, Михаил Михайлович бросил ему вслед:

— Бериевец!

В борьбу с Пахомовым я так и не включился, но и вкус к большому эфиру, о котором еще недавно так мечтал, кажется, утратил навсегда. То есть внешне все оставалось по-прежнему. Раз в неделю я выезжал на "куст", привозил репортажи, которые обычно долго лежали и, в конце концов, не шли. Записывал выступающих у микрофона, но к тому времени область моих интересов была уже иной. И именно эта моя страсть, заложенная, по-видимому, в моих бродильных генах, привела меня к делу Абрама Великовского.

ПЕРВЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Началось все с того, что встретил я как-то на Петровке своего старого знакомого по институту Толю Безуглова. На третьем курсе мы занимались в одном и том же научном кружке по советскому государственному праву. И даже в один день сделали на кружке доклады. Мой — о соотношении права и экономики —

вызвал восторженный отзыв руководителя кружка профессора Кравчука, Толин — о всеобщем избирательном праве в СССР — он подверг уничтожающей критике. И хотя читал Толя, мощно сверкая своими крупными цыганскими глазами и таким голосом, будто каждой фразой прокладывал новые пути в юридической науке, профессор Кравчук сказал, что товарищ очень огорчил его, поскольку просто взял и все переписал из довоенного учебника. Впрочем, это нисколько не помешало Толе — выходцу, как он всем говорил, из донских казаков — оказаться после института в прокуратуре СССР, в должности прокурора уголовно-судебного отдела.

Увидев меня, он необыкновенно обрадовался, рассыпался в комплиментах по поводу моего доклада и, узнав, что я пишу культпросветповесть, сказал, что через него в прокуратуре проходят великолепные материалы. "Сэнсация! (Вместо "е" у него получалось "э".) И все гибнет. Сокровишша, Витенька, гибнут (вместо "щ" у него получалось "ш"). Может быть, скооперируемся? Твоя голова, мои — материалы. Ваш бензин, наш — автомобиль".

На другой день Толя принес дело, которое потрясло меня. И залпом за одну ночь, сев за стол вечером и поднявшись где-то к пяти утра, я написал статью.

Это было дело об убийстве, совершенном в Лихоборах пятидесятилетней Валентиной Семеновной Тихомировой. Воспользовавшись отсутствием сына, она задушила свою двадцатилетнюю невестку и, чтобы ввести в заблуждение следствие, пыталась представить это как самоубийство. Всего более потрясали мотивы преступления. Обожавшая сына, Валентина Семеновна с первых же дней возненавидела бесприданницу-невестку, приве-

денную им в дом. Она мечтала о другой партии для него и, чтобы разбить семью, вначале задушила трехмесячного внука, а затем пошла и на убийство невестки, совершив преступление днем, почти на глазах у соседей.

В папке старых газетных вырезок у меня сохранился пожелтевший и ставший для меня уникальным экземпляр "Труда", датированный 27 мая 1956 года. В этот день после долгих мытарств по редакциям центральных газет "Дело Тихомировых" наконец увидело свет.

Это был мой первый в жизни фельетон, первый дебют на журналистской ниве, и, верно, поэтому в памяти сохранились многие занятные подробности.

27 мая было воскресенье. Еще утром, обнаружив статью на витрине у Петровских ворот, я помчался к ближайшему киоску "Союзпечати" и скупил все двадцать оставшихся экземпляров "Труда".

Когда киоскер их отсчитывал, я так и жаждал услышать из его уст вопрос: "Зачем же так много, молодой человек?" Но вопроса не последовало, и, не выдержав, я спросил сам: "Вы не читали сегодняшнего "Труда", в нем потрясающий материал!"

Но киоскер не повел и ухом, и, забрав всю пачку, я отправился вниз по Петровке. Я не пропускал ни одной витрины "Труда" и жадно вглядывался в лица каждого, кто останавливался и читал статью. Таких становилось все больше, материал был явно сенсационным. Я это чувствовал. Если витрину обступало сразу несколько человек, то испытывал подлинное наслаждение. Мне хотелось крикнуть, что это моя статья. Но я понимал, что это невозможно, и пытался тут же, у витрины, завести о ней разговор, чтобы как-нибудь вскользь все-таки ошарашить этих людей своим присутствием.

Я позвонил Безуглову, чья подпись первой стояла под фельетоном, и был оскорблен в лучших своих чув-

ствах, услышав по телефону его сонный голос. Он только от меня узнал, что статья появилась, но, разумеется, очень обрадовался. Тут же встретившись, мы сели в метро и поехали в парк культуры. Почему именно туда, не знаю.

В парке зашли в ресторан "Поплавок" и выпили. То есть пил я один, Безуглов сказал, что у него больная печень, поэтому он меня поддержит лишь символически, и заказал себе отварную курицу. После ресторана настроение поднялось еще больше.

Мы познакомились с какими-то молоденькими студентками, и, усадив их на лавочку, тут же всучили им газету с "Делом Тихомировых", и заставили их при нас же прочесть, сохраняя молчание по поводу главного.

— Ну а теперь, девушки, — торжественно сказал Безуглов, — я представлю вам автора этого сенсационного материала, молодого, но уже достаточно маститого писателя Виктора Борисовича Перельмана.

Я пытался ответить ему тем же, но так у меня не получалось.

— Я что? — скромно улыбался Безуглов, сверкая жгучими цыганскими глазами. — Вот Выктор Борысовыч (вместо "и" у него часто получалось "ы") — это да, фигура, восходяшшая звезда!

Не помню, как мы расстались с девицами, куда отправились из парка культуры. Но вечером очутились где-то у Зацепы, в малознакомой нам компании. Вошли с триумфом.

— Прошу дорогу, товарищи, дорогу! — весело шумел в прихожей Безуглов. — Идут авторы "Дела Тихомировых", не читали? Прочтите, прочтите обязательно. Вот Виктор Борисович может дать вам интервью по этому поводу.

За столом к нам без конца подсаживались, спрашивали — неужели это все правда?

— Разумеется, — отвечал я, напуская на себя полнейшее безразличие.

— А как вы все это писали?

— Как, очень просто, авторучкой, — снисходительно улыбался я, чувствуя себя на верху блаженства.

За 16 лет у меня вышли сотни статей и фельетонов. По общественному звучанию многие из них далеко превзошли "Дело Тихомировых", но я не помню, чтобы когда-нибудь еще пережил подобное состояние.

Звонили друзья, родственники, и все считали нужным подчеркнуть, что хотя материал и сам по себе сенсационный, но вместе с тем великолепно написан.

Кленов говорил, что наконец-то я нашел себя и что у меня прирожденный талант публициста и именно в этом жанре я сумею добиться многого. Но более всех я чувствовал это сам. И всякий раз, когда мне предстояло ехать теперь на "куст" и писать о "дружной самоотверженной работе" сельских тружеников, у меня заранее портилось настроение. Я хотел писать о том, что вызывало у читателей гнев и сарказм. Друзьям говорил, что ничего не могу с собой поделать — такие уж у меня гены. Теперь мне кажется, что в этой шутке была доля правды.

Встречаются природные оптимисты, для которых мир всегда окрашен в радужные тона.

Мой генетический заряд, по-видимому, плохо поддавался управлению извне и оставался отрицательным даже тогда, когда сам я, вдохновленный решениями XX съезда, преисполнялся оптимизмом. Вот это я и называю своими "бродильными генами", ко-

торые в 56 году толкнули меня на неблагодарную и рискованную стезю газетного фельетониста.

На X1X съезде партии Маленков говорил, что "советской литературе нужны "свои гоголи и щедрины", которые бы огнем сатиры выжигали пороки и пережитки, живущие в сознании людей. Гоголи и щедрины, на их счастье, так и не появились в советской литературе. Но что их ждало, нетрудно представить, если вспомнить судьбы многих сатириков — от выдающихся, как Михаил Зощенко, до мало кому известных, как фельетонист "Литературки" Круглов, осмелившийся приподнять завесу над нравами, бытующими в среде советских кинодеятелей.

Подвергавшийся систематической травле, Зощенко так и умер, забытый всеми в своей старой ленинградской квартире. Признанный после многочисленных разборов клеветником, Круглов кончил жизнь самоубийством, выбросившись с седьмого этажа из окна редакции.

ДОКАЖИТЕ, КОЛИ СУМЕЕТЕ

В 56 году я опубликовал в "Труде" целую серию фельетонов. Брался за все, что, по моему разумению, могло высечь искру в душе читателя. Писал о сектантах-пятидесятниках, о вагонных "нищих", сколачивающих капиталы на наивной доброте пассажиров, о чиновниках из Минлесбумпрома, уподобивших свою снабженческую базу тыняновскому поручику Киже... И всякий раз, когда я приносил новый материал, заведующий отде-

лом фельетонов знаменитый в то время Вяч. Сысоев устраивал мне допрос:

— Так,значит, говоришь, правы мы?

— Святая истина! — отвечал я.

— А откуда это видно? — читая фельетон,бурчал он. — Истина, истина... а где техника безопасности?Ты знаешь, кто такой фельетонист? Фельетонист — это канатоходец, чуть что — и вниз башкой.

Афоризм этот я усвоил быстро и,прежде чем сдавать фельетон, обычно долго и тщательно проверял факты и вместе с фельетоном тащил Вяч. Сысоеву целую папку бумаг, подтверждающих "нашу правоту". Но ни разу я не усомнился в другой, куда более важной вещи~а много ли стоит сама истина. Особенно в глазах тех, в чьих руках судьба фельетониста.

В деле Великовского истина лежала на поверхности, и Безуглов — он перешел к этому времени работать из прокуратуры в "Советскую Россию" — в нашем разговоре по телефону не уставал это подчеркивать:

"Такое дело, Витенька, бывает раз в сто лет! Он — Лауреат Сталинской премии,начальник управления Министерства легкой промышленности, на его стороне вся общественность. Она — квартирная хулиганка, клеветница, на ее стороне — никто. Тем не менее она безнаказанно травит его уже в течение ряда лет. Отдаю тебе материал полностью, без соавторства, надеюсь, ты в долгу не останешься..."

В долгу я действительно не остался и в качестве платы вскоре написал за Безуглова фельетон в "Советскую Россию". Тогда я еще не знал, какую мину мне подложит явившийся буквально через час после безугловского звонка Великовский.

Меня вызвали из радиостудии, где шла запись, и я увидел невысокого, с длинной лошадиной челюстью брюнета в очках, скромно поджидавшего меня у дверей, с таким же, как и он сам, респектабельным портфелем в руках.

— Виктор Борисович?—обратился он ко мне низким густым басом и подал мне свою маленькую руку. — Великовский Абрам Семенович из Министерства легкой промышленности СССР.

Я увидел на лацкане его пиджака значок Лауреата Сталинской премии.

Скоро мы сидели за столом, и, положив передо мной толстую папку с документами, он подробно и точно, будто докладывая на коллегии Министерства, вводил меня в курс постигших его неприятностей. Но он бы мог и ничего не рассказывать. Вложенная в папку целая кипа писем его соседки по квартире Надежды Сергеевны Ивановой говорила сама за себя.

Уже из первого письма, адресованного в Бауманский райком партии, Моссовет и партком Министерства легкой промышленности СССР, следовало, что она, Иванова, не первый год страдает от семьи Великовских и его родственников, живущих с ним в одной квартире на Солянке. Великовские не дают ей пользоваться газовыми горелками и ванной, терроризируют ее детей. Пользуясь высоким положением Великовского, они поставили целью сжить со свету Надежду Сергеевну, а вместе с ней и ее второго мужа, честного русского рабочего Иванова, ставшего родным отцом ее "малолетних сирот".

Судя по первому письму, Иванова выглядела заурядной кухонной склочницей, каких полным-полно в коммунальных московских квартирах.

Но это оказалось не совсем так. Второе и третье

письма уже были адресованы в Совет Министров СССР и ЦК КПСС. Все последующие направлялись по длинному перечню инстанций. В числе адресатов Надежды Сергеевны были первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, председатель Совета Министров СССР Булганин, председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов. И чем дальше, тем отчетливей звучали две основных темы. Одна — сам Великовский. В последних письмах Надежда Сергеевна обвиняла его ни больше ни меньше, как в том, что он отец ее младшего ребенка. Оказывается, еще три года назад произошла следующая история. Надежда Сергеевна так бедствовала, что ей даже не на что было купить сиротам молока. И она решилась зайти по-соседски к Абраму Семеновичу, чтобы одолжить пять рублей, а он, отпетый негодяй, воспользовался ее тяжелым положением и заставил ее пойти на все. И "вот уже третий год растет у нее сын Великовского, а он не только не хочет знать его, но и всячески стремится замести следы преступления и затравить мать-одиночку..."

Другая тема, вначале звучавшая слабым пианиссимо, когда речь шла только о травле честного русского рабочего Иванова, вдруг зазвучала мощным крещендо.

"Многоуважаемые товарищи,—обращалась Иванова в высшие партийные и советские инстанции, — Великовский по национальности еврей. И жена его — тоже еврейка. И все, кто живет в нашей квартире, тоже евреи. Все они богатые, стоят друг за друга и над нами издеваются, потому что мы бедные русские люди. Можно ли терпеть такую несправедливость? За что сражались наши деды и отцы в 17 году? Неужели только за то, чтобы нашу кровь сосали всякие Великовские, Гуревичи, Гольдберги?"

Я намеренно цитирую эти письма. Пройдет немного времени, и они перекочуют из папки Великовского в другую папку—с грифом Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. И на их основе будет создано совсем другое дело, которое, будучи преданным гласности, могло бы прозвучать не меньше, чем дело Бейлиса, и в реальность которого я бы и сам никогда не поверил, не доведись мне стать его живым участником.

Для проверки жалоб Ивановой была создана специальная комиссия парткома Министерства легкой промышленности СССР, затем комиссия райкома партии. Обе пришли к выводу, что ни один из приведенных ею фактов не подтвердился и письма Надежды Сергеевны Ивановой — злостная и преднамеренная клевета на коммуниста Великовского.

Однажды вечером Надежда Сергеевна устроила в квартире дебош. Она распахнула дверь на лестницу и во всю мочь кричала, что евреи избивают русскую мать. Затем стала стучать в дверь к Великовским и угомонилась лишь после того, как его семидесятилетняя мать свалилась с сердечным приступом. Жена Абрама Семеновича вызвала милицию, но к ее приходу — а это произошло через полтора часа — уже никаких следов дебоша не осталось, если не считать лежащей с приступом старухи Великовской.

Иванова, вызванная из своей комнаты сотрудниками милиции, сказала, что она ничего не знает, не ведает и что весь вечер она играла тихо с детишками и никого не думала тревожить. Тем не менее ей было сделано строгое внушение, ибо два часа подряд ходила ходуном вся лестничная клетка, и это подтвердили соседи и сверху, и снизу. Дело было решено передать в товарищеский суд, где Надежду Сергеевну пытались устыдить. Но она об-

рушилась с площадной бранью на председателя суда, пенсионера — военного отставника. Назавтра же на него поступила жалоба в ЦК, что он куплен Великовскими, Гольдбергами и Гуревичами и позорит свое высокое звание бывшего офицера.

Последними в папке Великовского лежали два судебных документа: приговор народного суда по его жалобе на Иванову и коротенькое определение уголовно-судебной коллегии Мосгорсуда.

— Понимаете, Виктор Борисович, — басил над моим ухом Великовский,—никогда ни с кем не судился.И теперь бы на это не пошел, если бы не прокурор города Белкин. Я пришел к нему на прием и, хотите верьте, хотите нет, едва сдерживаю слезы, ну что делать, что? Менять с нами никто не хочет, жить невозможно. Так вот он мне посоветовал привлечь Иванову к ответственности за клевету.

Нет пророка в своем отечестве, и даже прокурор города Москвы не мог предвидеть развития событий.Приговором народного суда Иванова была признана виновной в клевете, ей было вынесено общественное порицание. Но городской суд счел это обвинение необоснованным. Оказывается, Великовский не представил доказательств того, что в действительности не является отцом ребенка Ивановой, как это утверждала последняя, — и потому "наличие клеветы нельзя признать доказанным всеми материалами дела".

Я назвал свой фельетон "Докажите, коли сумеете".

По иронии судьбы пафос этого заголовка обернулся против меня самого. В конце концов я сам оказался в положении Великовского, убедившись, что те, кто именует себя совестью партии, могут без особого труда превратить черное в белое.

Почти два вечера я проверял материалы фельетона, и в папке, которую я принес в редакцию, было столько документов, характеризующих личность Ивановой, что даже Вяч. Сысоев уверенно заметил: "Да здесь, мы, кажется, правы!"

Я исписал два блокнота и переговорил с десятками людей. В доме, где жил Великовский, говорили, что газете давно пора вмешаться, а председатель товарищеского суда, отставник-пенсионер заявил,что он сам готов куда угодно пойти, чтобы лично рассказать, что представляет собой Иванова. Мне уж из спортивного интереса хотелось услышать об Ивановой хоть одно приличное слово, но все точно сговорились в неприязни к ней. Единственно, с кем мне не удалось встретиться, — с самой Надеждой Сергеевной. Она явно увиливала от знакомства со мной. Но стоило появиться фельетону, как наутро позвонила мне в редакцию.

Как она меня разыскала, одному Богу известно. Вяч. Сысоев посоветовал опубликовать фельетон под псевдонимом."Сам видишь, что за штучка,—сказал он,—ты хоть для своего же спокойствия стань кем-нибудь другим, только не Перельманом".

Предыдущие фельетоны я подписывал собственной фамилией, однако в словах Вяч. Сысоева был резон, и я превратился в Виктора Борисова. Но, услышав по телефону Надежду Сергеевну, я сразу понял, сколь наивны мы были с Вяч.Сысоевым: "Товарищ Перельман, это говорит ваша жертва, Иванова!"

Надежда Сергеевна потребовала, чтобы я в тот же вечер с ней встретился. И когда парадную дверь мне отворило щупленькое, тщедушное существо с тщательно прилизанными волосами и благообразными чертами лица, я с трудом заставил себя поверить, что это и есть неутомимая в своей титанической борьбе Иванова.

— Вот и встретились... — радушно улыбнулась она и, наскоро натянув на нижнюю рубашку пальто, прикрыла сзади себя дверь в комнату.

— Надька, падла! — несся из комнаты тяжелый пьяный голос...

"Честный русский рабочий" — тотчас же понял я. Иванова вывела меня на лестницу и потребовала, чтобы я немедленно шел к какой-то ее свидетельнице, которая знает всю подноготную Абрама Семеновича. Свидетельницы не оказалось дома. Тогда Надежда Сергеевна стала требовать, чтобы я шел еще куда-то, где знают старуху Великовского. Я сказал, что это уже не имеет никакого отношения к делу, и идти отказывался. Надежда Сергеевна пристально посмотрела на меня и снова улыбнулась, как в ту минуту, когда отворила мне дверь:

— Так вот вы какой, Виктор Борисович, что они говорят — всему верите, а что я — на это чхать хотели... Что ж, тогда, до свиданьица!

В письмах, которые снова пошли в партийные и советские инстанции, рядом с Великовским теперь неизменно фигурировало еще одно обвиняемое лицо — автор фельетона "Докажите, коли сумеете".

"Уважаемые товарищи, — писала Надежда Сергеевна, — Великовские знали, кого им найти для осуществления своих низких целей. Они нашли такого человека. Теперь всем известно, кто скрывается под честной русской фамилией Виктор Борисов".

Я читал эти послания, и впервые во мне зашевелился червячок сомнения: не напрасно ли я связался с этой личностью и не таит ли в себе действительной опасности то, чисто случайное совпадение, что мы оба — и я, и Великовский — евреи?

Письма Надежды Сергеевны стекались в отдел фельетонов "Труда". Но уже не к Вяч. Сысоеву, который неожиданно и тяжело заболел, а к новому заведующему Виктору Ефимовичу Сегалову, немолодому и очень милому человеку, ранее работавшему в отделе быта.

— Вы подумайте, какая мерзавка! — возмущался Виктор Ефимович.—Просто хулиганка,ее только за антисемитизм расстрелять следует.

— Вот, Виктор Ефимович, с какими девушками приходится иметь дело.

Но ни он, ни я не могли предположить, что очень скоро найдется организация, где письма Надежды Сергеевны получат иную оценку.

ДЕЛО АБРАМА ВЕЛИКОВСКОГО

Из Комитета партийного контроля ЦК КПСС нам с ним позвонили в один и тот же день, примерно месяца через два после опубликования фельетона. Разговор продолжался не более минуты. Я запомнил его лишь потому, что впервые услышал фамилию человека, который с этого дня меня уже не оставит в покое. И еще возможно, потому, что этот человек был на редкость любезен и предупредителен:

— Виктор Борисович! Извините, пожалуйста, беспокоит Тарасов из Комитета партийного контроля ЦК КПСС. У меня к вам просьба, не смогли бы к нам днями заглянуть? Когда? Да когда времечко выкроете. Только заранее позвоните, чтобы я пропуск заказал.

И так же хорошо сохранилась в памяти первая встреча. Миновав длинный коридор с ковровой дорожкой, в

котором царила мертвая тишина, я увидел наконец дверь с табличкой, где была написана его фамилия, и робко приоткрыл ее: "Можно, к вам?"—"Разумеется, можно!"—он вышел из-за стола навстречу ко мне и так выразительно крепко пожал мне руку, будто не было для него более дорогого гостя, чем я.

В тот день я впервые в жизни попал в ЦК и с любопытством разглядывал своего собеседника. В лице Тарасова не было ничего запоминающегося, если не считать остреньких скул, на которых выступал едва заметный румянец. Очень прямая спина, казалось, даже мешала ему вести себя просто и непринужденно. Он держал перед собой "Труд" с моим фельетоном и улыбался.

— Ну что, Виктор Борисович, нехороший человек Иванова?

— Безусловно! — уверенно ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— Ну а муж ее, Евгений Иванов?

Я вспомнил его пьяные крики из-за двери во время моего прихода в их квартиру и рассказы Абрама Семеновича, какие сцены тот устраивал по вечерам, и сказал:

— Пожалуй, тоже не очень — послушали бы, что рассказывает Великовский!

— Как вы сказали? "Рассказывает Великовский"?Ну, а Великовский, по-вашему хороший человек?

Я молчал, уже ничего не понимая.

— Думаю, что в общем, да,— теперь продолжал Тарасов, — Лауреат Сталинской премии. Начальник управления ведущего министерства.

— Вы еще не знаете, как его характеризует партком! — решил вставить я.

— Знаю, Виктор Борисович, знаю. У меня только один вопрос. Зачем Абраму Семеновичу понадобилось связы-

ваться с этой Ивановой, такой уважаемый, интеллигентный человек.

— Как зачем? — недоумевал я.—Так она же клеветала на него, вы читали ее письма?

— Читал, Виктор Борисович, читал.

Только теперь я увидел на столе Тарасова тоненькую папочку с письмами Ивановой.

— Ну, что вы скажете?

— А ничего не скажу, письма некультурного и не очень умного человека, — когда Тарасов говорил, кончики его скул краснели, а в глазах появлялся живой блеск. — А возьмите Абрама Семеновича — кандидат технических наук, ученый, неужели он ровня этой Ивановой? Нет, не ровня, так давайте и запишем, Виктор Борисович. А к вам мы, конечно, никаких претензий не имеем. Вы журналист, честный коммунист, но, между прочим, можно было и не выступать с этим фельетоном.

— То есть как?

— А вот так, Виктор Борисович, да уж ладно, что сейчас говорить, дело прошлое.

Прощаясь в этот первый раз с Тарасовым, я так и не понял, что он от меня хотел. Он снова вышел из-за стола и крепко пожал мне руку:

— Всех благ, Виктор Борисович, а насчет фельетона все-таки подумайте, стоило ли вам вмешиваться.

Не помню, сколько прошло времени между первой и второй нашей встречей. Вероятно, много, потому что я считал вопрос исчерпанным. "Труд" больше не трогали, и нового звонка из КПК никак не ждал. И не сразу даже вспомнил, кто такой Тарасов. Между тем все было точь-в-точь как в первый раз.

— Виктор Борисович? Тарасов, из Комитета партийного контроля. Как насчет того, чтобы заглянуть? Когда? Да когда будет удобно...

И встреча была такой же, как первая. Он вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Правда, в разговоре его появился какой-то новый оттенок, какой именно, я вначале даже не мог уловить. Я снова увидел ту же папку с письмами, что и в прошлый раз, но теперь она была значительно толще.

— Какие новости, Виктор Борисович? — улыбнулся мне Тарасов, как старому, доброму знакомому. — Что творим, что пишем?

Скорее, интуитивно, но я вдруг почувствовал, что дело принимает серьезный оборот, но какой именно и куда все может повернуться, разумеется, не знал.

— А за этот фельетон, говорю вам по-товарищески, напрасно брались. Кстати, как вы свои материалы обычно подписываете — Виктор Борисов или Виктор Перельман.

— Виктор Перельман.

— А чего этот вдруг Борисовым подписали? Но это я так, к слову.—И Тарасов извлек из папки знакомый номер "Труда".

— Просто никак не пойму, зачем нашей рабочей газете потребовалось защищать Великовского. Что он сам за себя не постоит? И главное, знаете, по ком удар пришелся? По мужу Ивановой. Хороший, честный производственник, из лучших побуждений усыновил детей, а теперь, говорит, стыдно товарищам по заводу на глаза попадаться.

— Так он же пьяница, я сам был свидетелем, — прервал я Тарасова.

— Да почему же пьяница? Выпил под праздник рюмку, а мы сразу — пьяница...

— Совсем и не под праздник, — не хотел уступать я.

— Не под праздник? Ну все равно... Человек стал отцом для чужих детей — вот в чем суть!

— Но согласитесь, что Иванова — клеветница и хулиганка, — не сдавался я.

— Какая там клеветница. Она вчера сидела вот тут на вашем месте, все о себе рассказывала. Просто отсталая замотанная женщина. А Великовский—коммунист,образованный человек! Мы тут советовались с товарищем Богоявленским—совершенно неправильно вел себя Абрам Семенович.

— А кто такой Богоявленский?

— Товарищ Богоявленский — помощник Николая Михайловича Шверника.

Тарасов посмотрел на меня внимательным взглядом, точно хотел удостовериться возымело ли на меня действие его упоминание о Богоявленском. Но эта фамилия возымела действие позже, когда я стал замечать,что она упоминается даже чаще, чем фамилия самого Шверника. "Богоявленский сказал", "Богоявленский не доволен", "Богоявленскому доложено".

Пройдет много лет,и судьба снова столкнет меня с этой некогда могущественной личностью. Правда, от его могущества к тому времени мало что останется. За злоупотребления властью его снимут с работы и исключат из партии, но я давно уже заметил, что такие, как Богоявленский,в Советском Союзе не тонут ни при каких обстоятельствах.

Однажды, когда я уже работал в журнале "Советские профсоюзы" редактором экономического отдела,позвонил человек и, представившись персональным пенсионером союзного значения Богоявленским,предложил чтонибудь написать. Вряд ли он вспомнил меня, но я-то сразу понял, с кем имею честь говорить.

— Я долго находился на профсоюзной работе,—объяснил он мне, имея, по-видимому,в виду, что был помощ-

ником Шверника, когда тот еще был председателем ВЦСПС, — знаю и люблю это дело и могу написать что-нибудь интересное.

Разговор этот происходил где-то в 60-х годах. Дело Великовского давно кануло в лету. Но к Богоявленскому у меня вдруг проснулся чисто спортивный интерес: что именно может написать этот "умнейший", как его характеризовал Тарасов, человек?

Я попросил его подумать над темой и позвонить мне дня через два. Он дал о себе знать через неделю и сказал, что готов сразу взяться даже не за одну, а за две важнейших проблемы: во-первых, "Профсоюзы—школы коммунизма", а во-вторых, "Ленинский принцип гласности соцсоревнования". "Титан мысли" — улыбнулся я про себя, — и сказал, что хотя обе эти проблемы действительно очень важны и интересны, но на страницах журнала "Советские профсоюзы" они уже поднимались.

— Подумайте над чем-нибудь еще, вы же старый профсоюзный работник.

— Хорошо, подумаю, — сухо ответил он и больше не позвонил.

— Так вот, товарищ Богоявленский,—продолжал, вдруг выпрямившись в кресле, Тарасов, — прямо мне сказал: "нарубили тут дров товарищи!"

— Да, но как же решение парткома Министерства легкой промышленности, райкома партии?

— А что такое партком и райком Виктор Борисович? Живые люди! — Тарасов улыбнулся, словно ища у меня понимания этой простой и очевидной истины.—А живые люди могут ошибаться —И его остренькие скулы залились румянцем.—Вот, например, Абрам Семенович ссылается на председателя товарищеского суда: дескать, кристальный человек, общественник. Пригласил я этого товарища. Хороший человек, коммунист, офи-

цер в отставке. Но просто не все в этом деле понял. А когда вместе разобрались, то сам же и признал, что был не прав, и даже объяснение нам написал.— И Тарасов показал мне листок бумаги, прочитав который я с трудом поверил собственным глазам.

Я великолепно помнил этого седовласого, с мощными плечами пенсионера, с которым мы, вероятно, битый час говорили в красном уголке ЖЭКа. Он стучал мощным волосатым пальцем по торцу стола, не уставая убеждал меня, что с такими, как Надька Иванова, чикаться нечего, тут крутые меры нужны и он хоть сейчас пойдет куда надо.

На листке, который показал мне Тарасов, председатель товарищеского суда покаянно писал в КПК, что по части товарища Ивановой Н.С. и ее мужа, который взял на попечение трех малолетних сирот, им была допущена серьезная ошибка, он ее признает, в чем и дает настоящее объяснение.

— Еще бы, в КПК,— мрачно усмехнулся я, — теперь вам что хотите напишут.

— Ну это вы уже зря, Виктор Борисович, — обиженно проговорил Тарасов и взглянул на меня с таким упреком, словно на его добро и расположение я ответил черной неблагодарностью, — уверяю вас: все дела ведутся абсолютно беспристрастно. Да и что плохого, если так говорить, мне сделал Абрам Семенович? Абсолютно ничего! Просто надо же установить истину...

В конце беседы он, как обычно, вышел из-за стола и даже крепче, чем всегда, пожал мне на прощание руку.

Все последующие дни я жил в напряжении и почему-то даже обрадовался, когда мне позвонил Тарасов. Он, как всегда, оставался самим собой:

— Виктор Борисович! Тарасов, из Комитета партийного контроля.

И когда я открыл дверь, как заводной солдатик, вышел мне навстречу из-за стола.

Я подумал: "Скорее бы все это уже кончилось", не подозревая, что развязка совсем близка и при всех моих мрачных прогнозах окажется все же не такой, какой я ее ожидал.

— Что, Виктор Борисович, будем заканчивать? — дружески смотрел на меня Тарасов. —Да, пора,— и энергичным движением он извлек из ящика стола толстую сброшюрованную папку, на обложке которой был вклеен бумажный прямоугольник, а на нем крупными машинописными буквами было напечатано: "Дело Великовского и других".—Решили вынести на четверг,—продолжал Тарасов, — вначале думали на среду. Товарищ Богоявленский занят.

— Куда вынести? — спросил я.

— Как куда? На Комитет партийного контроля при ЦК КПСС,—продолжал на меня смотреть Тарасов тем же дружелюбным взглядом. — Кстати, вы говорили, что Великовский хороший человек. А знаете, что выяснилось? Что с милицией-то провокация была!

— С какой милицией? — не мог вспомнить я.

— Ну как же, помните, фигурировал случай, будто Иванова устроила в квартире дебош? В дверь колотила, оскорбляла нацию Великовских. Так этого же не было ничего. Просто матери Великовского, Саре Лазаревне или Саре Моисеевне, не помню имени-отчества ее, что-то померещилось: может, Иванова на ребятишек прикрикнула или еще что-нибудь, — и Великовские тут же вызывают милицию? Зачем вызывают, неизвестно. А когда товарищи приехали, то ровным счетом ничего не обна-

ружили. Начальник 42-го отделения так нам и пишет: "Проверкой установлено, что в настоящем случае вызов работников милиции не имел под собой никаких оснований и носил со стороны семьи Великовских провокационный характер". В общем, почитайте это и все поймете, — и Тарасов вручил мне подготовленную им справку для членов Комитета партийного контроля.

Справка эта превзошла даже самые мрачные мои ожидания. С первых же строк говорилось о непартийном поведении коммуниста Великовского, погрязшего в квартирных склоках и дрязгах, совершенно недостойных члена КПСС. Используя свой авторитет и склонив на свою сторону некоторых членов домового товарищеского суда, Великовский создал вокруг семьи Ивановых нетерпимую обстановку, встал на путь сутяжничества и прямых провокаций, как это имело место, когда им, якобы для пресечения дебоша со стороны Ивановой, были вызваны сотрудники райотдела милиции. Затем говорилось о неправильной позиции, занятой редакцией газеты "Труд", опубликовавшей фельетон Перельмана. Автор явно тенденциозно осветил суть дела, поставив под удар семью рабочего Иванова и в первую очередь усыновленных им детей. В заключение Великовскому за непартийное поведение предлагалось объявить строгий выговор с предупреждением, а автору фельетона В.Б. Перельману поставить на вид.

— Послушайте, — вырвалось у меня, — здесь же все вверх ногами...

— Ну, это вы напрасно, Виктор Борисович. Хотите дам товарищеский совет?Не лезьте в бутылку, не надо. Я и Буркову,редактору"Труда",сказал это, мы с ним в одной столовой обедаем. "Не прав ты, Борис Сергеевич,

с этой Ивановой, абсолютно!" А он: "Это мы еще посмотрим". Ну хорошо, посмотрим, так посмотрим. А для вас, Виктор Борисович, самое лучшее, — это признать ошибку. Человек вы еще молодой. Скажете членам КПК, что погорячились, проявили поспешность. Главное, что вы это сами осознали. Уверен, что вам даже не вынесут взыскания, ограничатся предупреждением и все.

Тарасову явно нельзя было отказать в логике, и на миг я подумал, что самое разумное так и поступить, как он советовал. Но тотчас во мне проснулось нечто другое, что плохо согласовывалось со здравым смыслом. Если последовать совету Тарасова — это значит оказаться последним трусом и к тому же предать Великовского. Предательство в моих глазах всегда было самим мерзким, что можно было придумать.

И я решил попробовать переубедить Тарасова. И я снова стал перечислять все, что неопровержимо свидетельствовало в пользу Великовского.

Тарасов неотрывно смотрел на меня, но думал о чем-то своем. Я, не желая замечать это, снова и снова ссылался на документы, на факты, на слова сослуживцев. "А провокация, — доказывал я, — это какая-то идиотская нелепость. Зачем Великовским было ее устраивать? И, если хотите, они были правы, вызвав милицию...".

В этот момент изысканно вежливый, дружелюбный Тарасов так же, как когда-то Ликовенков, вдруг сбросил с себя маску. Он сбросил ее на миг, но мне этого было достаточно.

— Вот видите, какой вы, Виктор Борисович, — в глазах его блеснуло что-то недоброе, — как Великовский —

значит, все нормально. Почему вы считаете, что всегда права только ваша нация?

Я не поверил своим ушам...

— Простите, как вы сказали? — переспросил я, вобрав голову в плечи.

— А что я сказал особенного, Виктор Борисович? — на меня смотрели те же ясные, внимательные глаза, — сказал, что для нас с вами все должны быть равны, какой бы нации человек ни был.

Перебирая в памяти все происшедшее в те дни, я не устаю удивляться своему мальчишеству. И какой-то фанатичной вере в собственные силы — да нет того, чего бы я ни мог, я все могу, и доказать свою правоту на КПК тоже смогу. Тем более доказать, что черное — это черное, а белое — это белое. Как бы они ни были настроены, эти всевластные члены КПК, а это им придется признать.

По дороге из КПК мне в голову пришла гениальная идея. Такой она мне, по крайней мере, казалась. Я вспомнил еще одну деталь из биографии Надежды Сергеевны. Ее соседи по дому мне рассказывали, что некоторое время назад органы милиции высылали ее из Москвы за проституцию. По их словам, в управлении милиции на Петровке 38 в отношении нее было заведено специальное дело, в котором она фигурировала под кличкой "Надька-блоха".

Если эти материалы представить на КПК, то Тарасову никого не удастся убедить, что это просто усталая, замотанная женщина.

До заседания Комитета партийного контроля оставался ровно один день, и наутро, заручившись специальным поручением "Труда", я отправился на Петровку 38, где в мое распоряжение были предоставлены все необходи-

мые материалы. Но искать оказалось куда труднее, чем я думал. Картотеки по проституции не существовало вовсе, а нарушителей паспортного режима, среди которых числилась, по-видимому, Надежда Сергеевна, было столько, что казалось, не хватит и месяца, чтобы просмотреть все архивы. Неожиданное обстоятельство прервало мой поиск. Прибежала секретарша начальника архива и сказала, что меня срочно вызывают к телефону. Я не узнал голоса Тарасова, настолько он переменился:

— Товарищ Перельман, кто вам дал право ревизовать действия Центрального Комитета Партии? Я рассказал о вашем поступке Николаю Михайловичу, он был страшно вами возмущен. Немедленно явитесь в КПК и сдайте поручение "Труда". С ними у нас еще будет разговор!

Весь вечер я сидел сиднем и готовился к заседанию Комитета партийного контроля. Тарасов сказал, что на выступление мне дадут минут 10-15. Даже если вдвое меньше, то все равно я сумею кое-что сказать. На всякий случай приготовил два текста, один на десять минут, другой — на три, уж три-то минуты должны дать. Мне их будет достаточно, чтобы зачитать вслух некоторые выдержки из документов партийных комиссий. Не могут же они все отбросить с порога.

Уже поздно вечером позвонил Великовскому. В последние дни мне не удавалось его застать дома. На этот раз он подошел к телефону сам.

— Ну как, Абрам Семенович, держимся?—Весело приветствовал его я. Меня действительно охватил какой-то лихой веселый азарт.

Великовский определенно был настроен по-другому.

— Понимаете, Виктор Борисович, —басил он в трубку, — этот Тарасов такой страшный человек. Он вызывает меня по два раза в день — то меня, то жену. И все одно

и то же, одно и то же. А вчера у меня был приступ стенокардии... Знаете, у меня уж не хватает сил...

— Абрам Семенович, что с вами?—скорее,уже по инерции продолжал я все тем же голосом бодрячка.

— Нет, ничего, Виктор Борисович,ничего,—сказал Великовский. — Вы можете быть совершенно спокойны, вас-то уж я ничем не подведу.

— При чем тут я? Выше нос, Абрам Семенович,—еще раз повторил я и повесил трубку. Настроение было явно испорчено.

СОВЕСТЬ ПАРТИИ

Наутро, без пяти одиннадцать, я уже был возле секретариата Шверника, как мне и было велено Тарасовым. Самого его не было. Зато я тут же увидел Абрама Семеновича. Он был рядом с полным, непрестанно улыбающимся человеком, представившимся секретарем парткома Мосгорсовнархоза. За время, пока тянулось дело, министерства были преобразованы в совнархозы, и Великовский работал в Московском совнархозе.

Я искал глазами Буркова. Накануне, когда я держал совет с Безугловым, он сказал: "Витенька, не волнуйся, за широкими плечами Бориса Сергеевича Буркова ты как за каменной стеной," но Буркова нигде не было видно, зато я неожиданно заметил стоявшего у окна его зама Хатунцева и рядом с ним Сегалова. Я с удивлением спросил, а где же Борис Сергеевич.

— Борису Сергеевичу что-то нездоровится, — ответил Сегалов, — Владимир Алексеевич вместо него, — взглянул он на Хатунцева, но тот только пожал плечами:

— Более неудачной кандидатуры для этого невозможно было найти. Я вообще был в отпуске, когда печатали фельетон!

Тем временем подходили все новые и новые люди, здоровались с Великовским и секретарем парткома совнархоза. С некоторыми из них я встречался, когда проверял материалы фельетона, некоторых видел впервые.

Наконец возле приемной появился Тарасов в черном парадном костюме, придававшем его тощей, костлявой фигуре респектабельность, и сказал, обращаясь ко всем нам:

— Товарищи, кто здесь мои? Прошу, Абрам Семенович, прошу в эту дверь, — он махнул рукой Великовскому. — Виктор Борисович, сюда, — и вскоре вся наша компания оказалась в небольшой приемной, где, напротив обитой кожей двери, сидел одиноко приткнувшийся на стуле человек. Дверь, судя по всему, вела в зал заседаний, а он ждал, когда его вызовут.

— Наша очередь — вторая, — сказал Тарасов, — сейчас пойдет товарищ,а мы сразу же за ним, так что прошу никуда не отлучаться.

Отлучаться никто и никуда не намеревался, все стали шумно рассаживаться на стульях,стоявших вдоль стены, напротив кожаной двери. Я оказался рядом с "товарищем", который, по словам Тарасова, должен был идти перед нами.

Когда мы вошли, этот человек не обратил на нас ни малейшего внимания.Он не переставал курить и,нервно выдергивая горящие окурки изо рта, машинально вдавливал их в пепельницу, и без того доверху наполненную такими же жеваными, мятыми окурками. Эта пепельница, стоявшая на совершенно голом дубовом столе в приемной высшего партийного суда, кажется, навсегда

врезалась в память, даже не столько она, сколько гора изуродованных, изломанных окурков, под которыми уже почти не было видно черных пластмассовых боков пепельницы.

Все сидели молча. Лишь Великовский бесшумно расхаживал по мягкой ковровой дорожке. Он то и дело снимал очки, тер платком стекла. Только теперь я заметил, как он осунулся. Худое лошадиное лицо его стало длиннее, и когда он снимал очки, то глаза начинали часто и беспомощно моргать.

Сосед мой снова выдернул изо рта горящую папиросу и привстал, чтобы вдавить ее в пепельницу. Когда он сел, я спросил, что у него за дело. В ответ он молча махнул рукой и извлек из кармана пачку "Казбека".

— Понимаете, растащили завод, а я во всем оказался виноват, клеветник!

— Не волнуйтесь, может, разберутся, — попробовал я его успокоить, и в эту минуту кожаная дверь приоткрылась, и выглянувший из-за нее какой-то человек позвал его:

— Иван Иванович, пошли быстренько.— Он секунду подождал, пока сосед мой ткнет горящую папиросу в гору окурков и, пропустив его впереди себя, скрылся вместе с ним за дверью.

Мне кажется, не прошло и трех минут, как он появился обратно. На нем не было лица. Он пытался на ходу извлечь из кармана папиросы, но почему-то не мог. Я хотел спросить у него: "Как?" Но, встретившись с ним взглядом, понял все и без того.

Кожаная дверь снова скрипнула, и появился Тарасов, возбужденный, с разрумянившимися скулами:

— Абрам Семенович, товарищи, прошу...

Я был уверен, что кожаная дверь ведет прямо в зал, но, прежде, чем мы попали туда, пришлось пройти еще через две или три приемных, и, очутившись в зале, я в первый момент никак не мог понять, отчего он такой большой, будто даже и не зал заседаний, а зрительный зал со сценой, расположенной очень далеко от нас, сидящих на галерке, и там, на сцене, с минуты на минуту и должен был начаться спектакль. Возможно, такое впечатление создавалось оттого, что нас Тарасов усадил в одном конце зала, у самого входа, а члены КПК сидели в другом, за небольшим прямоугольным столом. Их было человек восемь-десять не больше. На председательском месте я тотчас увидел председателя КПК Шверника.

Он был точь-в-точь таким, как на портретах, — седеющий, с белым, гладким, словно восковым лицом. Сидел совершенно прямо, чуть склонив набок голову.

— А что, товарищ Иванова здесь? —спросил он звонким и совсем не стариковским голосом.—Где товарищ Иванова? — оглядывал нашу компанию Шверник.

— Извините, Николай Михайлович, — придвинулся к нему Тарасов, — я уже докладывал вам, что товарищ Иванова не член партии.

Шверник кивнул понимающе головой и тотчас откуда-то сбоку к нему приблизился плотный с властным лицом человек, очевидно, Богоявленский, он что-то сказал Швернику, и тот снова кивнул головой...

— Кто вел дело, товарищ Тарасов?

— Я, Николай Михайлович, — поднялась над столом прямая как струна фигура Тарасова. И он громким, решительным голосом зачитал вслух все ту же злосчастную справку, которая во время нашей последней встречи вызвала у меня взрыв негодования и в которой Великовский характеризовался как беспринципный склочник, докатившийся до кухонных провокаций.

— Ясно! — сказал Шверник, когда Тарасов кончил. — Кто хочет сказать? — оглядывал он нас, расположившихся у двери.

— Разрешите, Николай Михайлович, — пробасил сидящий слева от меня Абрам Семенович.

Приблизившийся сбоку к Швернику Богоявленский снова что-то сказал ему, и Шверник снова понимающе кивнул головой.

— Значит, товарищ Великовский? Пожалуйста! Что вы можете нам сказать по этому делу?

Абрам Семенович поднялся и, молча оглядев присутствующих, загудел, но не об Ивановой и не о своем с ней конфликте, а о том, как тяжело ему, коммунисту с двадцатипятилетним стажем, держать ответ перед высшим партийным органом — Комитетом партийного контроля, олицетворяющим честь и совесть партии. Взвесив честно и по-партийному свое поведение, он пришел к выводу, что им допущена тяжкая ошибка, граничащая с преступлением перед партией, в котором он, Великовский, глубоко и чистосердечно раскаивается.

Я поймал себя на мысли, что совершенно не удивлен его выступлением и даже, напротив, после вчерашнего разговора по телефону ничего иного не ждал. Я лихорадочно искал выхода — если раскаивается он, человек, которого я в фельетоне защищал, то что остается делать мне? Тоже каяться, наплевав на самого себя, на все на свете, — плетью обуха все равно не прошибить...

— Я понимаю, — гудел над ухом Великовский, — что, как коммунист, не имел права пасть до уровня Ивановой и тем более погрязнуть в судебных дрязгах. И не было никакой необходимости идти в редакцию "Советской России" с материалами для фельетона.

— Куда вы сказали идти? — неожиданно встрепенулся генерал, сидящий с левой стороны от Шверника — В "Труд"?

— Нет, в "Советскую Россию", но, поверьте мне, Николай Михайлович, что сейчас я очень переживаю.

Шверник, чуть склонив свою седую голову, неотрывно, как изваяние, смотрел на Великовского, и на его неподвижном каменном лице невозможно было уловить ни единой эмоции, вызванной раскаянием Великовского.

В заключение Абрам Семенович еще раз повторил, что он до глубины души осознал свое поведение и просит Комитет партийного контроля только об одном — позволить ему искупить вину честным трудом в рядах партии, без которой он не мыслит своей жизни. Последние слова Абрам Семенович произнес с трудом. Голос его дрогнул, и он спешно полез в карман за носовым платком.

— Так, ясно! — сказал Николай Михайлович. — Кто следующий — товарищ Иванова?

— Николай Михайлович, я вам докладывал, что Иванова не член...

— Да, да,—кивнул головой Шверник, — ну так кто же?

— Разрешите! — и я увидел, как откуда-то сзади меня выкатился в центр зала кругленький, очень похожий на Михаила Петровича секретарь парткома Мосгорсовнархоза.

— Уважаемый Николай Михайлович, дорогие товарищи, — начал он мощным голосом заштатного оратора, — вы только что выслушали выступление коммуниста Великовского. Не стану скрывать, партийный комитет считает, что товарищем Великовским допущена тяжкая ошибка, граничащая с партийным преступлением. Должен доложить вам, Николай Михайлович, что мы у себя в парткоме тщательно разбирались в этом деле. Нехоро-

шо ты поступил, Абрам Семенович, очень нехорошо, недостойно! Но, товарищи, мы все видим, как переживает товарищ Великовский, глубоко переживает, по-партийному. Учитывая это, партком просит не налагать на коммуниста Великовского строгого партийного взыскания, ограничившись обсуждением вопроса.

Теперь была моя очередь, и я попросил слова. Позже, кому бы я ни рассказывал о происшедшем на КПК, почти все недоумевали: "Ребенок! Не знал, как надо себя вести, ну покаялся бы, побил себя в грудь, подумаешь, Желябов".

Меня упрекали, что я не стал тем, кем я должен был стать, согласно действующим стереотипам. Впоследствии я много раз пытался понять свое состояние. Похоже, взыграло во мне нечто такое, с чем я физически не мог справиться. Не мог, да и только, изничтожать себя за то, в чем не чувствовал ни малейшей вины. И оттого, что каялся Великовский, у меня вовсе не появилось желание следовать ему. Совсем напротив, видя перед собой его униженную фигуру, я твердо решил вести себя как угодно, но только не так, как он.

Начал с того, что выразил несогласие с мнением Тарасова и попросил разрешения процитировать некоторые из документов, характеризующих Иванову. Интуитивно я почувствовал, что следует избрать трехминутный вариант выступления. Но не успел я сказать, что, с моей точки зрения, партследователь КПК товарищ Тарасов неправильно доложил дело, как генерал, сидевший слева, прервал меня:

— Вы лучше скажите, как фельетон попал в "Труд", если Великовский сдавал его в "Советскую Россию"?

Я попробовал ответить, как все было на самом деле, а именно, что "Советская Россия" не смогла у меня взять фельетон, поскольку незадолго до этого опубликовала

материал на ту же тему, и я вынужден был сдать его в "Труд".

— Значит, не берут в одном месте, вы несете в другое — торговали, значит, фельетоном! Кто больше заплатит!

Я попытался объяснить, что в газетах бывает так, когда материал, не пошедший в одном месте, сдается в другое...

Я неотрывно следил за каменным лицом Шверника. И вдруг заметил, как впервые на нем проснулось что-то живое и человеческое. Удивленно вскинув брови и оглядев с тем же живым выражением сидящих за столом, он воскликнул:

— Товарищи! Да ведь он же ничего не понял!

— Абсолютно ничего! — решительно поддержал его генерал.—Торговал фельетоном, как на базаре!

— Нравы желтой прессы! Позор! — услышал я сразу несколько голосов, мгновенно почувствовав, что дело плохо. Нужно было срочно что-то придумать, сказать нечто очень важное, но, как назло, ничего не лезло в голову.

А Шверник, с лица которого уже исчезло выражение, которое вдруг проснулось, с тем же холодным мрамором в глазах оглядел членов КПК и спросил:

— У нас еще кто-нибудь есть?

— Николай Михайлович, — прорезался наконец у меня голос, — разрешите еще две минуты.

Но он не повел даже глазом в мою сторону, будто меня вообще не существовало. Только теперь я увидел, что поодаль от стола, у стены, сидела еще группа людей, по-видимому, работники аппарата КПК, и ближе всех к Швернику Богоявленский. Увидев меня, неожиданно поднявшегося и пытающегося что-то сказать Швернику, они стали мне делать отчаянные знаки, какие, ве-

роятно, делают человеку, стоящему над обрывом и при одном неудачном движении могущему сорваться в пропасть.

Тем временем поднялся Хатунцев и стал говорить, что во время публикации фельетона он был в отпуске, поэтому как следует обстоятельства дела не знает, но, судя по имеющимся документам, газета имела основания так выступить.

— Имела основание? — переспросил Шверник. — В ближайшем номере дадите опровержение!

— Я, конечно, доложу редколлегии...

— И нечего докладывать! — снова встрепенулся генерал. — Надо вообще посмотреть, Николай Михайлович, чем они там занимаются.

Шверник, согласно кивнув головой, сказал:

— Ну что же, товарищи, перейдем тогда к мерам взыскания.

Снова приблизился Богоявленский и придвинул к Швернику тарасовскую справку.

— Великовскому предлагается строгий выговор с предупреждением. Было, кажется, мнение смягчить... — В зале наступила тишина. — Как, товарищи? — Члены КПК молчали. — Значит, оставляем? Остается строгий выговор. Перельман — тут написано на вид...

Приблизился Богоявленский, но Шверник жестом руки показал, чтобы он вернулся на место, его помощь не потребуется.

— Значит, тут написано "на вид", — выжидательно повторил Шверник.

— Выговор! — решительно произнес генерал.

— Никак не меньше, — поддержали остальные члены Комитета. — Ничего не понял и еще вести себя не умеет.

— Но я ж кандидат партии, как же выговор? — снова поднялся я.

— Вот и не следует вас подпускать к партии, — сказал Шверник, не глядя в мою сторону, — так что, товарищи, все?

— Все, Николай Михайлович, — первым поднялся Тарасов.

Вслед за ним вышли и мы. Впереди Великовский с представителями совнархоза, Хатунцев, позади всех я.

— Владимир Алексеевич! — окликнул я Хатунцева.

Уже не помню, что именно, но что-то я хотел ему сказать, возможно, просто хотелось с кем-то перекинуться словом. Он не обернулся. Я снова позвал его, но он прибавил шаг и быстро побежал по лестнице. Зато по какому-то срочному делу понадобился я Тарасову. После заседания он был очень возбужденным, радостным. И, взяв меня под руку, повел по коридору, к себе и, усадив в кресло, сказал:

— Вот видишь, говорил же тебе, чудаку,—не лезь! А ты? Полез как не знаю кто! Кстати, чтоб не забыть, дай номер твоей кандидатской карточки. В райком-то мы должны с тобой сообщить или не должны?

— Теперь и с работы уволят! — мрачно усмехнулся я, подавая ему карточку.

— Не имеют права, — ответил он, аккуратно выписывая к себе в блокнот ее номер.

— И на новую не возьмут, — вспомнил я о предстоящей на радио реорганизации.

— И на новую возьмут, — сказал он, возвращая мне карточку. — Ошибаться может каждый. Так что если что-нибудь, то пусть сразу звонят мне, я все объясню.

Из КПК я тотчас отправился к себе в редакцию, пребывая в мрачных предчувствиях от того, что теперь меня ждет здесь.

За полгода я и словом не обмолвился об истории с Великовским, и сейчас меня вполне могли обвинить в сокрытии фактов от партийной организации. Тем более склоки здесь достигли таких уже масштабов, что вряд ли приходилось рассчитывать на чье-то сочувствие. Дмитрий Семенович давно меня занес в списки своих врагов, которых всячески выживал из отдела, но которые и не думали складывать оружия.

Незадолго до заседания КПК Дмитрий Семенович в третий раз уволил Исая Осиновского и тот третий раз был восстановлен судом.

Железный Исай написал письмо генеральному прокурору СССР с просьбой привлечь Пахомова к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. И хотя над Дмитрием Семеновичем и не висела опасность оказаться за решеткой, он тем не менее все последние дни пребывал в мрачном настроении. Встреча с ним не предвещала мне ничего хорошего. Однако, рассказав ему о деле Великовского и о постигшей меня неприятности, я почувствовал, что доставил ему определенно удовольствие. Мне даже показалось, что он непрочь был растянуть его.

— Так все-таки не ясно, за что же тебе влепили выговор? — уже который раз подряд он переспрашивал меня.

— Как за что? За неправильный фельетон. Так сказал Шверник.

— Ну это даже я понял. А вот в чем конкретно была неправильность?

И я начинал пересказывать все сначала, и он снова задавал мне вопросы — один нелепее другого, пока нако-

нец не подошел к тому, чего я ждал от него с первой же минуты:

— Ну, а товарищам по работе надо было рассказать обо всем этом или не надо...

— Вот я и рассказал, Дмитрий Семенович.

— А не кажется тебе, что ты это мог сделать раньше, если бы уважал свою парторганизацию? Так я говорю или опять чего-нибудь недопонимаю?

— Нет, не кажется, — сухо ответил я, чувствуя, что уже потерял терпение.

Спустя неделю меня пригласили в Бауманский райком партии, чтобы познакомить с формулировкой выговора. Прошло очень много лет, но я помню ее до сих пор: ..."За написание фельетона, разрушающего семью, оскорбляющего достоинство рабочего Иванова, усыновившего детей Ивановой от предыдущего брака" — вот какими серьезными словами кончился фарс, разыгравшийся в высшем партийном органе на сороковом году советской власти.

Первые дни после КПК я держался довольно бодро, хотя перспектива сулила мало приятного. Отдел радиоинформации доживал последние недели. Не добившись победы в двухлетней войне со склочниками и анонимщиками, Пахомов и Королева убедили агитпроп МК в том, что остался только один выход: ликвидировать отдел радиоинформации вовсе и восстановить его в новом качестве во Всесоюзном радио. У меня появилось "утешение" — судя по всему, меня ждала та же участь, что и прочих инвалидов пятого пункта. Но я плохо знал Дмитрия Семеновича. Отнюдь не ради красного словца он упрекнул меня в том, что я скрыл от товарищей дело в КПК.

Однажды в конце рабочего дня ко мне подошел член партбюро, редактор промышленных передач Марк

Полонский,единственный из евреев,к кому был лоялен Пахомов,и сказал,что у него ко мне серьезный разговор.

Как выяснилось, разговор касался моих партийных дел. Марк давал мне рекомендацию для вступления в члены КПСС. Но после истории с Великовским дело приняло новый оборот. Позвонили из райкома и потребовали, чтобы Полонский срочно отозвал свою рекомендацию. Марк не был из храброго десятка и требование райкома тут же выполнил.

В своем заявлении он писал, что по-настоящему никогда не знал меня и дачу мне рекомендации считает серьезной ошибкой. Но об этом я узнал позже, а тогда он просто сказал, что хочет предупредить о грозящей мне неприятности,—по-видимому, совесть его все-таки грызла. Он взял с меня торжественное слово, что никому не скажу, а то ему оторвут голову и, дождавшись на всякий случай, пока мы выйдем на улицу, сообщил, что готовится мое исключение из партии.

— Понимаешь, Виктор, — сочувствующе глядел он на меня, — тебе ужасно не повезло. Случись все на месяц позже, уже некому было бы тебя исключать. А так — только умоляю не продай меня! — завтра по твоему вопросу партбюро.

Марк напрасно устроил такую панику. Из партии меня не исключили. И партбюро по моему вопросу так и не собралось. В тот вечер, когда мы говорили с Полонским, я сильно простудился и схватил крупозное воспаление легких.

Дул пронизывающий ноябрьский ветер с дождем. Поужинав, я сказал матери, что хочу выйти и немного прогуляться. Она удивленно взглянула на меня — в такую-то погоду! Представляю, что бы с ней было, если б она видела, что вышел я без пальто, в одном пиджаке.

Утром проснулся со страшной тяжестью в голове. Температура была 39,8. В постели провалялся как раз тот злосчастный месяц,о котором говорил Марк. И когда вышел на работу, всем действительно уже было не до меня. Работал ликвидком. И партбюро больше не собиралось. Так что я еще раз убедился, что судьба не всегда проявляла ко мне жестокость, а в тот промозглый ноябрьский вечер даже была, в некотором роде, милостива...

РАСПЛАТА

В декабре 57 года на общем собрании коллектива Дмитрий Семенович лично зачитал приказ о ликвидации московского отдела радиоинформации. Это было, кажется, 12 или 14 декабря, а с первого января 1958 года всех русских, точнее всех неевреев, и одного Полонского для "разбавки" зачислили во вновь созданную Московскую редакцию Всесоюзного радио. Четырнадцать человек — 13 евреев и Михаил Михайлович Глушков оказались безработными на улице.

Это произошло через месяц после пережитого мной дела Великовского. Выходило, что, как еврей, я умудрился пострадать дважды. Во-первых, я получил выговор от Комитета партийного контроля за разрушение семьи "честного русского рабочего Иванова", а во-вторых, остался без работы в результате антиеврейской чистки в Московском отделе радиоинформации.

В моем сознании навсегда был сокрушен 56 год — год надежд и иллюзий. Отрицание сменилось отрицанием. На языке гегелевской триады тезис сменился антитези-

сом. Но вот удивительно: спроектированный на реальную действительность этот антитезис вовсе не обернулся рождением нового жизненного кредо. Он даже не обернулся мрачным неверием в жизнь, в ту самую советскую жизнь, которая за короткое время подвергла меня столь жестокому остракизму.

Просто произошла переоценка ценностей. Из нее проистекал единственный вывод, что впредь мне надобно быть умнее, не лезть на рожон, не пытаться перешибить "плетью обуха" — словом, как следует овладеть неписаными законами житейской мудрости.

Итак, я начал искать работу. К тому времени у меня были довольно широкие знакомства в центральных газетах. Встречали меня обычно с сочувствием, которое с особой силой просыпалось после того, как я в красках рассказывал о деле Великовского. "Это ж надо, как тебя угораздило", — обычно слышал я в эти минуты. После этого следовали обещания — обязательно поговорить с шефом. Через несколько дней следовал звонок по телефону — мой, разумеется, звонок: "Ну, что, говорил?" — "Говорил, старче, пока ничего, шеф даже и слушать не хочет!" Или пока "гурништ!". Или пока "нет штатов" — все это было настолько одинаковым, что я даже не пытаюсь припомнить, где не было штатов, где "шеф не хотел обо мне слушать", а где был просто по-еврейски невеселый "гурништ".

Начал я с "Известий", потом пошел в "Труд", затем в московские газеты, а в марте уже докатился до "Московского комсомольца". Здесь новый редактор Миша Борисов битый час выяснял мою биографию и наконец сказал, что вообще-то ему нужен фельетонист и он бы, невзирая ни на что, взял меня на полставки, то есть на 480 рублей по-старому, если бы не возражали в Комитете партийного контроля.

Я вспомнил последний разговор с Тарасовым. Дал Борисову номер его телефона и сам настоятельно попросил, чтобы он позвонил в КПК. Там ему наверняка разъяснят, что выговор мне вынесли за частную ошибку, ни в коей мере не характеризующую мою личность. Я был на сто процентов уверен, что Тарасов так и скажет — какой смысл теперь, по прошествии времени, говорить другое.

Наутро третьего дня я, уверенный в успехе, набрал номер Борисова. Он говорил со мной вполне дружелюбно, заметив, что КПК действительно ко мне никаких претензий не имеет. Но на беду произошло непредвиденное обстоятельство — предназначенные для меня полставки неожиданно взял у газеты обком комсомола. И поэтому он, Борисов, при всем расположении ко мне ничего не может поделать.

Позже выяснились любопытные детали этой истории. Толя Безуглов оказался хорошим знакомым редактора "Комсомольца" и однажды устроил ему допрос: отчего тот не взял такого способного фельетониста, как я. На что Борисов довольно туманно ответил, что он и сам бы не прочь в рай, да грехи не пускают... От Безуглова было не так-то просто отделаться. И в конце концов он выяснил, что Борисов действительно звонил Тарасову и что Тарасов как будто бы действительно сказал, что он лично против меня ничего не имеет. Но Мише этого было недостаточно.

"Мы его хотим на фельетоны посадить. Как думаете — не подведет?" Это было уж слишком: "А кто его знает, подведет или не подведет, — сказал Тарасов. — Вы — редактор, вам и решать. Но будь я на вашем месте, то как следует подумал бы".

Вот и все, что сказал Тарасов, — казалось бы ничего особенного. Но Миша Борисов, прежде чем стать редакто-

ром, прошел хорошую школу в обкоме комсомола и давно уже научился читать между строк мысли товарищей из высших партийных органов. Вот так и исчезли в "Московском комсомольце" те злосчастные полставки, на которые я с такой надеждой уповал.

После пяти месяцев бесплодных поисков работы я понял наконец, что без помощи свыше мне устроиться не удастся, и в одно прекрасное утро позвонил в отдел пропаганды и агитации ЦК, откуда направили меня в МК к заместителю заведующего отделом агитации и пропаганды товарищу Цедилиной.

Цедилина оказалась высокой, с мощной квадратной фигурой женщиной, совершенно не скрывавшей того, что мой приход некстати. Слушая мою историю, она поминутно заглядывала в продуктовую сумку, стоявшую рядом, что-то проверяла в ней и прерывала меня восклицаниями: "А мы-то тут при чем? Просто не понимаю, как будто у меня отдел кадров". Когда я кончил, лицо ее оживилось, и в нем даже проснулось нечто такое, что можно было бы назвать озарением, если бы эта "озарившая" ее мысль не сопровождалась какой-то странной улыбкой:

— Послушайте, Виктор Борисович, — перешла она даже на имя и отчество, — а отчего бы вам не поработать где-нибудь еще? Ну не вышло в газете. Будем говорить прямо, не доверяют вам товарищи. И, может быть, правильно делают! Так что же на газете свет клином сошелся?

— Да, но я профессиональный журналист — куда же мне идти?

— Куда? А вы хотите обязательно в газету? Идите хоть на завод! Вам сколько лет — тридцати еще нет? — она снова заглянула в сумку. — Молодой человек! Да стала бы я унижаться, работу выпрашивать!

Она взглянула на меня и не знаю уж, что прочитала в моих глазах, но лицо ее вновь нахмурилось и стало нетерпеливым.

— А что вы, между прочим, удивляетесь? На заводе тоже люди работают, и, может быть, не хуже нас с вами, товарищ Перельман... в общем, сейчас нет у меня мест,— перешла она снова на официальный тон, звоните, может, что и появится...

Я пожал плечами, недоумевая, куда теперь идти.

В кабинет вошла моя старая знакомая еще по Управлению культуры инструктор МК партии Нина Соловьева. Нина заглянула в сумку к Цедилиной. Только теперь я заметил, что в ней бултыхался живой карп — а та, обрадовавшись появлению Соловьевой, тут же перепоручила меня ей:

— Это товарищ Перельман. Слышала, наверное, историю. Посмотри, может, что-нибудь ему подберешь.

Соловьева сказала, что историю мою слышала и что может сейчас же позвонить Мише Борисову в "Московский комсомолец".

— Ты его не знаешь? — обратилась она ко мне. — Очень хороший парень, живой, демократичный — только вчера просил подослать сотрудника в отдел фельетонов.

"Круг замкнулся!" — улыбнулся я про себя и сказал, что Борисову, пожалуй, звонить не стоит, поскольку у нас с ним еще раньше не сложились отношения...

— Ну, смотри! — удивленно взглянула на меня Соловьева. "Ишь ты, — прочитал я у нее в глазах, — полгода без работы ходит, а говорит еще о каких-то несложившихся отношениях".

В одной из новелл Кафка пишет о самоощущении человека, превратившегося в одно прекрасное утро в насекомое. Меня потрясла фантазия Кафки. Но даже в мыслях я не мог влезть в шкуру его героя. Теперь я начинал ве-

рить, что подобные ощущения вполне возможны. Оказываясь по утрам в стенах МК, я определенно начинал чувствовать себя футбольным мячом (если можно тараканом, то отчего же нельзя мячом!), который гоняют по разным кабинетам, но никак не могут загнать в ворота.

НИКИТА ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ

Не знаю, сколько бы продолжался этот чиновничий футбол, если бы не сработала теория вероятности. Она уже не впервые приходила мне на помощь в трудную минуту. В одном из таких же кабинетов МК судьба столкнула меня с оригинальной личностью по фамилии Фенин. Проявив изрядную находчивость, он положил конец моим мытарствам.

Фенин был рыжий, с большими залысинами, быстрый в движениях и с первой же минуты встретивший меня совсем не так, как его коллеги.

— Ты что пишешь? Нет, ты посмотри, что здесь написано! — стучал он пальцем по бумаге, лежавшей перед ним на столе. — Это черт знает что!

По его бессвязным, нечленораздельным восклицаниям трудно было понять, что в действительности вызвало у него такую бурную реакцию.

Лежавшая перед ним бумага была моим письмом на имя первого секретаря обкома Демичева, в котором я кратко, но сколько мог впечатляюще, излагал ситуацию, в которой находился уже почти полгода. Все эти полгода я тщетно ищу работу. Меня никуда не берут, поскольку имею выговор от КПК. А выговор не могут

снять, потому что нигде не работаю. Получается заколдованный круг, из которого я не вижу выхода.

— Это же надо! — возмущался Фенин. — В каком положении человек.

Я понял, что гневная шрапнель, обрушившаяся на мою голову, относится вовсе не ко мне, а, наоборот, вызвана сочувствием к моему положению. Он был первый, кто во мне увидел живого человека, а не просто жалобщика, обивающего пороги кабинетов. Он хотел помочь, но абсолютно не знал как.

— Ты войди в мое положение, — вдруг подскочил он вместе с письмом ко мне. — Секретарь обкома пишет: "Товарищу Фенину!" А что должен Фенин делать: помогать тебе или слать тебя к едреной матери, — этого ведь не пишет. Допустим, стану я тебе помогать, а какой-нибудь гаврик, вроде Миши Борисова, возьмет и позвонит секретарю — мол, давит ваш Фенин на меня, велит какого-то Перельмана с выговорешником брать. Тот, конечно: подать сюда Тяпкина-Ляпкина — "Это кто тебе, Фенин, давал указание такую активность проявлять? Да надо посмотреть, товарищи, — зрелый ли этот растудыть его Фенин". Вот я спрашиваю, нужна ли, брат, нам с тобой такая ситуация? Нет, не нужна, поверь мне, не нужна!

Фенин снова уселся за стол и стал усердно чесать пальцем свой рыжий, золотушный затылок. "Философ-перестраховщик", — подумал я, но он вдруг оживился и воскликнул:

— А ты знаешь, есть идея! Вот ругают: "аппаратчики", "аппаратчики" — до такой мысли сам Талейран не додумался бы! Гениально! — Хлопнул он себя по большому золотушному лбу. — Нам ведь что с тобой надо? Нам надо, чтобы секретарь обкома товарищ Демичев заставил

инструктора агитпропа Фенина устраивать тебя на работу. Так или не так?

— Ну так, — без особого энтузиазма согласился я, не понимая, что за гениальная идея пришла к Фенину.

— А ведь ты из нашего разговора уже убедился, что Фенин-перестраховщик и без особого указания не намерен ударить палец о палец. Так или не так?

— Допустим, — согласился я, — меня уже начал интересовать ход его мыслей, который был явно не тривиален.

— Ну как, догадываешься? — встал он из-за стола, весело потирая плотные волосатые ладони. — Не догадываешься? Эх ты, Ваня, а я-то думал, что передо мной головастый мужик. В общем, так: еще недели две потерпи, а потом пиши на меня Демичеву кляузу — что хочешь, то и пиши, что Фенин — чиновник, волокитчик, зарвавшийся бюрократ, мол, я без куска хлеба сижу, а он, подлец, палец о палец не хочет ударить, чтобы мне помочь, и ваше, Петр Нилович, указание выполнить...

Теперь кое о чем я уже начал догадываться. Но лишь спустя две недели, когда, выполнив этот совет, я был вновь вызван в МК, то уже до конца понял, что за ход придумал этот рыжий, простодушный русак Фенин.

Перед ним, как и в тот раз, лежало мое письмо на имя Демичева, но уже второе письмо и уже с другой резолюцией.

— Читай-ка! — победно протянул он мне мою же бумагу.

В левом верхнем углу крупными буквами было написано: "Тов. Фенину", — и дальше шли какие-то мелкие и едва разборчивые слова, точно Демичев специально хотел, чтобы написанное им было трудно прочитать. Но Фенин, по-видимому, отлично разбирающий почерк начальства, тут же продекламировал:

—"Разберитесь и, в случае необходимости, окажите содействие...". Во, брат, не какой-то там инструктор агитпропа Фенин, сам секретарь обкома требует, чтобы тебя немедленно устроили на работу...

— Где требует, где немедленно? — скептически протянул я.

— А Фенин на что? Фенин кто? Исполнитель! Как скажут, так и сделает. Ну ведь может он легонько поднажать, а? Толковать слова начальства тоже надо уметь. Ты Мишку Житомирского не знаешь? Вот тоже, хоть лопни, не берут никуда и все, а парень — загляденье, так мы с ним такую комбинацию провернули — будет время расскажу, со смеху умрешь. — Фенин молча потер ладони. — Конечно, работу дадим не в "Правде" и не в "Совинформбюро". Но в одно место я уже позвонил. Новая газета открывается. Какая? Очень великолепная областная газета "За рулем автомобиля" — орган московского областного автотреста. Поедешь на Фурманный переулок, дом не помню какой, разыщешь редактора Болотникова Никиту Ивановича и скажешь: "Я, Никита Иванович, от Фенина", а дальше все пойдет само собой.

Из МК я поехал прямо на Фурманный.

Внешне Никита Иванович, работавший раньше редактором Истринской районной газеты, оказался весьма колоритной личностью с бритой, похожей на кофейник головой и таким же длинным, напоминающим ручку кофейника, красным носом — типичный руководитель районного масштаба: председатель райпотребсоюза, начальник райфо или чего-то в том же духе. Говорил он в нос, с дребезжащим прононсом, по-видимому, из-за не удаленных в детстве аденоидов. Сидел в небольшой, заставленной столами редакционной комнате, окруженный со всех сторон, как петух цыплятами, еще тремя,

очевидно, только что взятыми на работу молоденькими сотрудниками. При моем появлении все трое с удовольствием оторвались от столов и стали с интересом наблюдать за развитием событий возле редакторского стола.

События развивались довольно медленно — Никита Иванович долго читал мою автобиографию и личный листок по учету кадров, которые всегда были у меня наготове. И наконец своим дребезжащим голосом изрек:

— Виктор Борисович! Все бы у вас неплохо, но, не скрою, одно обстоятельство приводит меня в смущение. Я имею в виду выговор от Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Как бы кое-кто повыше не прицепился к этому обстоятельству и от страха — извините за вульгаризм — не наложил в штаны! В общем, я, конечно, доложу начальству...

Трое литсотрудников следили за нашим диалогом.

— Лев Борисович, Илья Сергеевич, товарищ Якимов, работа продолжается, — обвел их недовольным взглядом Никита Иванович и вышел из комнатки. Я последовал за ним. И следом вылетели все трое сотрудников.

В коридоре по очереди они протянули мне руки:

— Якимов — ответственный секретарь этой мощной газеты! — Якимов был в узеньком пиджачке, тощий, с папироской в зубах и лицом алкоголика, что никак не соответствовало его интеллигентной и чуть насмешливой речи.

— Овсяников Левон, — протянул руку следующий, с быстрыми, стреляющими по сторонам глазами. — Шофер первого класса. Газетчик по зову сердца...

Пока я разглядывал третьего, он успел шепнуть мне, что шеф — сволочь страшная, стукач и прочее, "но ничего — обломаем...".

— Илюша, — наконец неуверенно подал руку третий, совсем еще ребенок, курчавый, с полными детскими

губками, про которого я в первую же минуту подумал, что ему нет семнадцати...

— А у Илюши мама в "Московской правде" работает заведующей отделом писем, — дурашливо гаркнул Левон. — Илюша у нас в гранках родился, и вообще он начинающее дарование!

Не успел я познакомиться со своими будущими коллегами, как в коридоре снова появился Никита Иванович и сказал, что меня просит войти управляющий трестом товарищ Чернявский.

Разговор с Чернявским был куда более определенным, чем с Никитой Ивановичем.

— Выговор от КПК имеется? — сухо спросил он, заглянув в мою анкету. — Не знаю, не знаю, будем в отношении вас советоваться. Позвоните завтра.

Назавтра Чернявский уехал в область, а Никита Иванович сказал, что он без управляющего ничего сказать не может. ("Высекут еще ни за что ни про что!") И вообще Фенин несколько переоценил эффект, ожидаемый от его комбинации. Мое устройство в газету "За рулем автомобиля" продолжалось еще битых две недели, и, прежде чем занять свое место за маленьким столом, расположенным левее от главного стола Никиты Ивановича, мне еще несколько раз пришлось ездить в МК, пока Фенин, чувствовавший за спиной резолюцию начальства, не приказал стальным голосом в трубку Чернявскому: "Есть прямое указание Петра Ниловича, вам ясно или нет? С понедельника обязываем его (то есть меня) на работу взять!"

Стоял дивный май, и наша компания во главе с Якимычем, в узеньком пиджачке и "чинариком" в зубах, и замыкаемая розовощеким и гордым, что и он теперь в рядах газетчиков, Илюшей выходила со двора дома № 8 в Фурманном переулке.

Здесь, в самом углу двора, располагалась контора Чернявского, управляющая жизнью шоферской братии Подмосковья — таксистами, механиками, диспетчерами, кондукторами и Бог весть еще кем, а на втором этаже в двенадцатиметровой комнатушке располагался главный политический орган этой конторы — газета "За рулем автомобиля".

Каждый говорил и думал о своем: Якимыч о том, где бы ему в эту духоту проглотить кружечку пивка, Левон вдруг внес предложение — податься в "Нарву" и выпить по стопке по случаю выхода первых номеров газеты "За рулем автомобиля". Розовощекий Илюша, покраснев как вареный рак, вдруг спросил меня робеющим голосом: неужели сам Шверник объявил мне выговор и я своими глазами видел его.

— Да, видел, — улыбнулся я, — имел такое счастье.

— Глаз в глаз? — все еще никак не мог поверить Илюша. — Если бы ты только знал, как я тебе завидую! Представляешь, Левон, иду с девочкой, журналист, газетчик, а в партбилете выговор от КПК от самого Шверника, да я бы с ума от счастья сошел.

А у меня были свои мысли — что теперь я, возможно, и не пропаду.

— Сколько у нас людей-то в подчинении? — спрашиваю я у Якимыча.

— Тысяч пять негров! — смеется он. — Целая армия...

Вечером я взахлеб рассказывал Кленову о своей новой фирме. Возвратившись из Конаши в Москву, он устроился инспектором по кадрам в Московской областной конторе Главлесбумсбыта. Кленов остался Кленовым ,и когда он встречал своих бывших сокурсников,то сообщал им, что работает начальником отдела кадров самого Главлесбумсбыта. Мне такого никогда не добиться. Но и я, как было всем доложено, устроился не на

табачной фабрике "Ява", а в главной шоферской газете Московской области. Все, что на четырех колесах, все в моем распоряжении, не говоря о том, что трест выдал каждому из нас по черному удостоверению общественного ревизора.

Так что если мы попадали в Рузу или в Можайск, то могли бесплатно ездить на всех видах транспорта. Впрочем, все виды транспорта — это только автобус. Таксисты наши удостоверения всерьез не принимали. Когда Левон ухитрился не взять билета на электричку, то был за милую душу оштрафован. Денег, правда, не заплатил, но в редакцию шли одна за другой повестки из суда. Никита Иванович не уставая мучил Левона укорами: "Лев Борисович, с судебными инстанциями шутки плохи, будете тянуть — последние портки снимут, не вякнете!"

К каждому из сотрудников у Никиты Ивановича был свой подход. Больше всех доставалось Илюше Меленевскому. Он оказался непревзойденным графоманом, если это слово вообще было применимо к недоучившемуся 17-летнему Илюше.

За полдня он был способен написать сразу три очерка, а так как наша безгонорарная газета вечно испытывала голод по материалам, то все его творения шли в набор, хотя и вызывали нарекания Никиты Ивановича.

— Илья Сергеевич! — говорил он. — Вы пишете много, но слишком увлекаетесь штампами. Надо все-таки головой думать, а не тем местом, на котором сидите. Пишете: "В автобус вошла девочка со щечками, как красный помидор". Я пропустил только потому, что править не было времени, но на будущее прошу со штампами быть поаккуратнее.

В будущем ничего не менялось, и Никита Иванович тем же меланхоличным голосом продолжал распекать Илюшу.

— Илья Сергеевич, чего вам дались эти овощи? Пишете: "Рядом с водителем такси сидел мальчик. Голова его была чем-то похожа на огурец". Строго говоря, ни одна детская голова на огурец не бывает похожа, хотя бы потому, что у детей растут волосы, а огурец — существо безволосое... вроде нашего с вами эпинштейна...

Уроки Никиты Ивановича Меленевскому впрок не шли. Ко всему прочему Илюша обладал потрясающей способностью перевирать все факты. За факты Никите Ивановичу мылил шею лично Чернявский, и он не раз мне плакался в жилетку по поводу своих мук с Илюшей и его творениями.

— Между нами говоря, Виктор Борисович, из Меленевского, возможно, и выйдет толк, только неизвестно, при жизни ли нашего поколения. А пока не материалы, а сопли, извините за выражение. И, главное,выгнать — не выгонишь. Во-первых, комсомолец, а во-вторых, мама — член редколлегии "Московской правды". Мимо этого факта так просто не пройдешь.

У меня Никита Иванович тоже нашел слабое место, хоть и не переставал подчеркивать, что по профессиональному уровню мои материалы на двадцать голов выше очерков Меленевского. Главные претензии Никиты Ивановича касались распределения светотеней в моих материалах.

— Виктор Борисович! — сказал редактор на второй день после моего прихода. — Очень уж мрачные тона в нашей критической корреспонденции о Егорьевском автохозяйстве. Какая-то помойка, а не советское предприятие. Критика — вещь полезная, но надо знать меру. А это прямо для "Голоса Америки".

К таким материалам Никита Иванович был непримирим и, в отличие от очерков Меленевского, не допускал никаких компромиссов.

— Виктор Борисович, это для Би-Би-Си, прошу переделать, — и он решительно препровождал материал со своего стола на мой.

Вообще такого хладнокровного зануды, как наш Никита Иванович, по-моему, не знал мир. И к тому же еще такого потрясающего лодыря. Позже, когда Якимов ушел и я стал ответственным секретарем, то почувствовал это на своей шкуре с такой силой, что однажды не выдержал и высказал Никите Ивановичу все, что накопилось на душе.

В летние дни Никита Иванович вообще не хотел работать. В три-четыре часа дня он снимал с гвоздика соломенную шляпу и преспокойно сматывал удочки, заставляя меня до ночи торчать в типографии и подписывать газету, то есть выполнять его прямые обязанности. Зато нам он не давал дыхнуть, и, если я пытался когда-нибудь отпроситься пораньше, он обычно долго мне выговаривал, сравнивал ответственного секретаря с капитаном на мостике... и кончал обычно одной и той же фразой:"Виктор Борисович, в следующий раз прошу планировать свое личное время так, чтобы не ставить под угрозу график выхода газеты..."

Так вот после одного из таких выговоров я вспылил и чуть не матерно выругал редактора.

Никита Иванович и глазом не повел.

— А у вас, Виктор Борисович, тоже есть недостатки, — сказал он.

Больше всего редактор любил, чтобы мы организовывали среди шоферов новые коммунистические почины. Такие материалы он обычно распоряжался ставить на первую полосу. Подписывал их, причмокивая от удовольст-

вия губами, и даже не обращал внимания на штампы. Эту слабость Никиты Ивановича первым раскусил Илюша и вскоре без особого труда стал находить охотников выступать на первой полосе с творческими начинаниями. Больше всего их оказалось среди люберецких таксистов. Здесь, не без вмешательства Илюши, нашлись новаторы труда, и весь таксопарк первым в области включился в соревнование за досрочное выполнение семилетки. По этому поводу Илюша один написал целую полосу, а Никита Иванович ее беспрекословно подписал, заметив при этом: "Они хоть и публика ушлая, но кашу с ними варить можно".

Слабость Никиты Ивановича к новым починам однажды привела к тому, что чуть не подорвалась вся газета.

Среди люберецких таксистов Илюша сумел выискать такого новатора, равного которому не знали автомобилисты Московской области. Это был сорокалетний одессит, водитель первого класса Борис Абрамович Карпиловский. Он без колебаний дал Илюше карт-бланш на любые материалы, нужные редакции, за его подписью.

Илюша не замедлил этим воспользоваться. Когда в депо "Москва-Сортировочная" началось движение за коммунистический труд, то первым в Люберцах разведчиком будущего стал человек нового коммунистического сознания — иначе Илюша его не называл в своих очерках — Борис Карпиловский. Он был первым последователем Валентины Гагановой и заявил со страниц газеты, что берет обязательство вытянуть сразу три отстающих бригады.

Ко всему прочему это был просто обаятельный человек, неиссякаемый источник анекдотов и веселья, за что мы все его любили, звали между собой Бобом Карпиловским.

Портрет Карпиловского, внешне похожего на молодого Утесова из кинофильма "Веселые ребята", не сходил с первой полосы, пока однажды не позвонили из Люберецкого отделения ОБХСС Чернявскому и не сообщили, что в автобазе города Люберцы начато уголовное дело против группы таксистов во главе с бригадиром коммунистического труда Карпиловским.

Даже в "мошенничестве" Боба Карпиловского угадывался почерк одессита. В "Образцовое коммунистическое обслуживание" Боб внес элемент частной инициативы. К этому обстоятельству и не осталась равнодушной милиция.

Боб вступил в "тайное" соглашение с несколькими персональными шоферами министров. Согласно этому соглашению, они, то есть персональные водители, в определенные дни заболевали и уходили на бюллетень. По "случайности" дни болезней совпадали с днями прибытия их шефов во Внуковский или Шереметьевский аэропорты. Сойдя с трапа авиалайнера и не видя своего водителя, могущественный шеф начинал беспомощно смотреть по сторонам, выискивая, кто бы мог его выручить из этой никем не предвиденной ситуации. В этот самый момент, откуда ни возьмись, и выплывала импозантная фигура Боба Карпиловского. Он услужливо подхватывал министерские саквояжи да плюс еще с великолепными одесскими хохмами отвозил попавшего в беду министра домой.

Он лично вносил багаж в апартаменты своего пассажира, и нередко случалось, что очарованный министр тут же предлагал Карпиловскому место своего личного шофера — настолько Боб был обаятелен в пути. В ответ неизменно следовал отказ Боба. Он был честным человеком. В лучшем случае, что он мог себе позволить, — это просто показать государственным людям, как должен работать

цивилизованный водитель, за что государственные люди не могли отказать себе в удовольствии щедро вознаградить такого водителя. Он в свою очередь кое-что выделял и их персональным шоферам.

Так или примерно так выглядели показания обвиняемого Карпиловского следователю ОБХСС. Впрочем, остапбендеровская деятельность ничуть не мешала Бобу брать высокие обязательства, перевыполнять план по пассажирам и пассажирокилометрам, так же, как новаторская натура Боба не помешала ОБХСС начать против него уголовное дело.

— С тобой, Илюша, как с фальшивой монетой, лучше не связываться, — горестным голосом комментировал Никита Иванович головомойку, полученную от Чернявского за историю с Карпиловским. Ну, теперь твой вонючий Боб уж не вылезет, органы покажут ему такие почины, что своих не узнает. Крапивой по заду таких дельцов надо, простите за грубость...

Если бы Никита Иванович, потерявший в эти минуты объективность, знал, как он далек от истины в своих мрачных прогнозах относительно нашего любимца!

Спустя несколько лет судьба снова свела меня с Бобом Карпиловским, точнее не с ним, а с его звучной еврейской фамилией. Произошло это при следующих обстоятельствах. Поздно вечером у Савеловского вокзала я, вероятно, в течение получаса тщетно пытался остановить такси. Был двадцатиградусный мороз. Жена, находившаяся в то время в положении, преотвратно себя чувствовала, а мимо нас сновали свободные машины, и ни одна не удосуживалась остановиться.

Переписав номера нескольких машин, я наутро написал письмо начальнику Управления пассажирского автотранспорта Москвы. Письмо это, спущенное в таксопарки, как и следовало ожидать, не принесло никакой поль-

зы. Отовсюду шли нечленораздельные отписки — тому-то по вашей жалобе поставили на вид, тому-то строго указали... И только один ответ поразил меня своей деловитой обстоятельностью.

"Многоуважаемый Виктор Борисович! — читал я.— Работники такого-то таксомоторного парка на общем собрании всего коллектива обсудили Вашу жалобу и единодушно признали, что вопрос о нарушениях на линии Вами поставлен правильно и своевременно". Если бы в канцелярской переписке мог бы существовать жанр поэзии, то это было произведение именно этого жанра. Сообщалось о том, что после моего письма решено еще выше поднять ответственность каждого труженика таксопарка, укрепить товарищескую взаимопомощь и во всю ширь развернуть соревнование за коммунистический труд. В заключение следовала подпись — я не верил глазам! — "с коммунистическим приветом, замдиректора таксопарка Борис Карпиловский".

НАДО ЖИТЬ

Я позволил себе вспомнить эту почти анекдотическую историю явно в нарушение логики. Да и занимает меня несколько иной вопрос: какие силы, несмотря ни на что, помогают человеку оставаться самим собой. Нет, не применительно к Бобу Карпиловскому, а применительно к себе занимает меня этот вопрос. Думаю о трудных днях после окончания института, когда в должности бухгалтера-ревизора разъезжал я по районным газеткам, воображая себя невесть какой шишкой; о 57 годе, когда, обретя положение, вдруг лишился все-

го и тем не менее всегда пребывал в прекрасном настроении, и, если мать пыталась по обыкновению вспомнить Юридический институт (с неизменным рефреном: слушался бы ее, никогда бы ничего не произошло!) — я бывал искренне возмущен. Мать просто не понимает, какое положение я занимаю в своей областной газете "За рулем автомобиля".

Выше я назвал себя и себе подобных романтиками. Если это так, то откуда берется этот романтизм?

Отчего при всех перипетиях жизни я умудрился не падать духом, и я строю воздушные замки, и у меня отличное настроение. Конечно же молодость! Конечно, надежды! Но те же черты нахожу в себе и сейчас, когда за плечами — лучшие полжизни, но как мало достигнуто.

И сколько таких, как я, встречались мне в жизни! Хотите, называйте их романтиками, хотите, как-нибудь еще, дело ведь не в словах. Об одних я уже писал, о других еще речь впереди, но все они возвращают меня к вопросу: что же выделяет их среди других?

В 1936 году в статье "Национализм и еврейство" Фейхтвангер писал: "С признаками еврейства обстоит так же, как с еврейским Богом, чье имя непроизносимо и который, несмотря на свою "неизобразимость", существует активнее, чем наглядно изображаемые боги других человеческих групп. Еврейство — не расовая общность. Еврейство — это духовная общность, общий духовный облик. Это согласие и взаимопонимание всех принадлежащих к этой группе consensus omnium в важнейших вопросах. Это согласованность трехтысячелетней традиции в том, что хорошо и что плохо, что счастье и что несчастье, что достойно стремления и что достойно отвра-

щения, согласованность в элементарных воззрениях о Боге и человечности".

Так считает Фейхтвангер. Но, перенося национализм из области чувств в сферу логики и рассудка, он сам впадает в неразрешимое противоречие, так как оказывается неспособным ответить на главный вопрос: почему еврейская духовная позиция сумела сохраниться в течение тысячелетий? Иначе говоря, в чем источник духовной силы еврейства, которое при отсутствии территориальной, расовой, языковой общности, при отсутствии общности образа жизни оказалось способным выжить как нация.

Чувства побуждают обратиться к библейской истории, столь ярко представленной бесстрашными вождями, мудрыми и дальновидными правителями. К ним восходят многие черты еврейского народа, но судить по преданиям о живом еврейском характере можно с той же степенью достоверности, с какой выводить из образа Ильи Муромца характер Дмитрия Карамазова или солженицынского Ивана Денисовича.

По-видимому, надо искать этот характер в типических российских обстоятельствах. А что это значит для евреев? Это значит: национальные унижения, неравноправие, надежды и крушения — все что испокон веков было присуще российской действительности. Я имею в виду не святую поэтичную Русь Тютчева и Блока, а Россию Шолома-Алейхема, с чертой оседлости, с одесской биржей, с егупецкими маклерами и городовыми и с вечно неунывающим веселым страдальцем Менахем-Мендлом из Касриловки.

В предисловии к советскому изданию собраний сочинений Шолома-Алейхема сказано, что Менахем-Мендл олицетворяет собой "конвульсивные усилия мелкого буржуа приспособиться к капитализму, который его

давит..." — претенциозный классово-экономический подход к проблеме, наукообразный по форме, но ничего не дающий ни уму, ни сердцу. Вот что писал сам Шолом-Алейхем в 1909 году в канун праздника Ханука: "Менахем-Мендл — не герой романа и вообще личность не выдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1882 году на одесской малой бирже, мы потом рука об руку проделали все семь кругов ада на бирже в Егупце, "шли" с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной профессии к другой, но — увы! — нигде счастья так и не нашли и вынуждены были в конце концов по примеру многих эмигрировать в Америку... Там, говорят, евреи живут неплохо".

Стремительно летит время. Сегодня Егупец и Касриловка — такая дичь и старина, которую трудно представить человеку 70 годов. Лишь по литературе я знаю о малой одесской бирже, егупецких сватах и маклерах. И при множестве своих неудач я лишен был "счастливой возможности" писать и плакаться в жилетку "дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шендл".

Но как это ни парадоксально, Менахем-Мендл и я — это одно и то же, хотя он провинциальный мечтатель николаевской России, а я журналист эпохи научно-технической революции. Бессмысленно перечислять, что нас роднит. Это надо чувствовать, как чувствовать себя Менахем-Мендлом. Вот уж кто живой пример гегелевского отрицания отрицания, пример того, как философская абстракция воплощается в живом человеческом характере. Менахем-Мендл отрицает Менахем-Мендла. Ради утверждения себя в лучшем качестве, для лучшей жизни прошел он все семь кругов ада.

Я много писал об антисемитизме, о жестоких испытаниях, выпавших на долю советских евреев. Что же помогло им пройти свои семь кругов ада и, несмотря ни на что, не раствориться, не потерять самих себя? Историки и этнографы еще не раз будут обращаться к этому вопросу. Я же хочу сказать о вечно живом, неукротимом менахем-мендловском духе еврейского народа; это он — который раз в истории! — выстоял перед испытаниями судьбы.

Великолепный афоризм привел Фейхтвангер, принадлежащий знаменитому рабби Гилелю: "Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому!"

Но как сказал бы Менахем-Мендл, одними афоризмами сыт не будешь, даже если они принадлежат такому мудрому человеку, как рабби Гилель. Худо — плохо, но надо еще делать дело, и кормить семью, и рожать детей, и надеяться на лучшее. Может быть, не все надежды сбудутся, но надеяться надо. В общем, у Менахем-Мендла свой девиз — "надо жить и не падать духом". И это все. И это главное.

... Он отправился искать счастья в Америку, а я, сделавшись ответственным секретарем газеты "За рулем автомобиля", подал заявление о снятии партийного выговора. Объявляли мне его пять минут, а снимали около года, инстанция за инстанцией, и везде задавали один и тот же глубокомысленный вопрос: "Как же это вы так, товарищ Перельман, умудрились разрушить семью честного рабочего Иванова? Надо же думать, когда пишете!"

Секретарь Бауманского райкома партии в своей назидательной речи так увлекся, что я, грешным делом, подумал, как бы все это не кончилось трагически и меня все-таки не исключили из партии. Но "бес", как это часто случалось у Менахем-Мендла, сменился "госом", и кто-то из присутствующих задал вопрос:

— Ну а как сейчас, пишете фельетоны?

— Нет, сейчас уже не пишу...

— Научили! — засмеялся секретарь райкома и сказал:— Что ж, товарищи, по-моему, он кое-что осознал, есть предложение — выговор снять.

В тот миг мне действительно казалось, что кое-что я осознал. Ведь совсем не обязательно всю жизнь ходить по канату. Можно ведь просто жить. Просто работать. И просто зарабатывать деньги. Так зарождалась в голове новая философия, новое отрицание.

Впереди вырисовывалась вполне разумная и обеспеченная жизнь. Но я слишком плохо знал сидящего во мне Менахем-Мендла, который по прошествии времени вновь заявит о себе.

AQUA PURA

Начиная с 60-го по 68 год я, будучи корреспондентом журнала "Советские профсоюзы", налетал тысячи, а может быть, и десятки тысяч километров, и если бы служил в авиации, то, возможно, уже получил бы право на пенсию. Но я профессиональный журналист, и самолет был для меня не целью, а только средством, помогавшим, как говорил Сент-Экзюпери, "вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, увидеть человеческий труд и человеческие заботы". Самолет, который за каких-нибудь два часа доставлял меня из районов вечной мерзлоты в районы лазурного Черноморья и из которого я мог наблюдать очертания земного шара с той же пьянящей легкостью, с какой, развалившись в мягком кресле салона, любоваться ножками бортпроводницы, —

становился для меня инструментом познания, своего рода субстратом пространства. И так было много лет.

Но теперь, когда пишу эту книгу, в моем сознании произошла "смена декораций". Все, что было в реальной жизни, все — от бортпроводниц до политических деятелей, с кем меня так часто сталкивала жизнь,—сохранилось лишь на кинопленке, запечатлевшей прошлое. Невидимая и неосязаемая, не занимающая и микрона пространства, эта лента сегодня для меня — единственная мера ощущений, единственная мера бытия. Все прочее — передвижение по квартире, по улицам, мои отношения с друзьями — существует лишь в связи с ней. Теперь я отчетливо знаю, что пространственный мир, сколь бы он ни был богат красками, — это всего лишь распиленный в поперечнике ствол непрестанно растущего дерева, лишь паспортная фотография жизни, верная для данного мгновения, но мало чего стоящая спустя одну-две секунды.

Зато ушедший в прошлое мир продолжает жить за кадром и постоянно дает о себе знать.

Совсем недавно жена позвала меня к телефону:

— Виктор Борисович! Здравствуйте! Кто говорит? Неужели не узнали, Виктор Борисович? Ай-яй-яй, загордились, оторвались от старых друзей...

Я, разумеется, уже давно понял, кто говорит, и ломал комедию ради любопытства.

— Да, автор "Дела Тихомировых", молодой, но уже достаточно маститый писатель, — а ныне журналист и литератор всесоюзного масштаба!

Время способно состарить человека, исполосовать его лицо морщинами, но ему не подвластны интонации голоса, манера говорить, возможно, оттого, что ему не подвластен характер.

— Здравствуй, Витенька, здравствуй, дорогой! — наконец раскрывает свое инкогнито мой бывший соавтор

Толя — ныне доктор исторических наук, профессор Анатолий Алексеевич Безуглов.

В отличие от меня, Толя сделал большие успехи на научном поприще.

Он уже много лет работает в Институте права Академии наук СССР, проявив недюжинные способности именно в той области, где был так жестоко осмеян профессором Кравчуком. Толя с блеском защитил кандидатскую диссертацию, а совсем недавно — докторскую: "Государственно-правовое положение советского депутата".

После защиты его тепло поздравил сам член-корреспондент Академии наук СССР профессор Чхиквадзе, чья принципиальная борьба с безродными космополитами не была не замечена, он уже много лет возглавляет Институт права Академии наук СССР.

На защите все называли Толю ученым, не отрывающимся от практики. В своей диссертации молодой ученый широко использовал материалы эксперимента в селе Конаково Калининской области. Там часть функций исполкома сельсовета была передана сессии сельсовета и благодаря этому роль народных избранников еще более возросла. Цель Толиного звонка ко мне состояла в том, чтобы осветить этот эксперимент на страницах "Литературной газеты".

На банкете говорили, что Толя не только ученый, но к тому же и талантливый литератор. Перу доктора наук Безуглова принадлежит много литературных работ и даже два романа. "Ну, товарищи, товарищи, это уж слишком!" — скромно останавливал таких Толя.

Выступавшие в этом месте действительно утратили чувство меры, так как, во-первых, не два романа, а две повести, а во-вторых, не перу Безуглова, а его соавтора, одного из советских писателей-детективистов.

После дела Великовского Толя утратил ко мне интерес как к соавтору, но не утратил тяги к соавторству как к форме творческого содружества. И вот на моем месте появился другой литератор. Он пишет, Безуглов пробивает написанное.

Теперь научная респектабельность не позволяла Толе произносить вслух циничную формулу "бензин ваш, машина наша". Распределение ролей молчаливо подразумевалось, и выступавшие на защите, чье настроение подогревалось хорошим отношением к Толе шефа и предстоящим банкетом, конечно, не знали, да и не могли знать этих нюансов его творчества. Они прочили Толе будущее академика и крупного писателя одновременно, и прогнозы их могли вполне оправдаться.

Голоса прошлого слышу не только по телефону. На Ново-Песчаной, на троллейбусной остановке меня окликнула импозантная и почти совсем уже седая женщина в каракулевом манто. С трудом узнаю Нелю Крылову, лицо ее излучает довольство и благополучие:

— Живу, Витька, неплохо, второй раз замуж вышла, защитилась. Кто муж? Один очень симпатичный человек...

Мы хотели обменяться телефонами, но подошел ее троллейбус, и, оглянувшись, она лишь успела помахать мне с подножки пальчиками.

В "Вечерней Москве" я наткнулся на некролог:"Администрация, партком и местный комитет Института патентной экспертизы с глубоким прискорбием сообщают, что после кратковременной и тяжелой болезни скончался ученый секретарь института, член КПСС с 1932 года Абрам Семенович Великовский".

Жизнь есть жизнь. Одни умирают, другие продолжают жить и здравствовать.

Не так давно в журнале "Молодой коммунист" я увидел статью помощника секретаря Президиума Вер-

ховного Совета СССР Александра Жаркова. Статья называлась "Слуга народа". Путь, пройденный автором от поэтического салона сестричек Крыловых до высшего органа государственной власти, несмотря на написанный по дороге донос, не изменил поэтических пристрастий автора. Он так же, как когда-то в молодости, цитирует Маяковского: "А что если я — народа водитель и одновременно — народа слуга".

Голоса прошлого помогают лучше понять пространственный мир. Происходит переоценка ценностей. И многие реалии, составлявшие некогда смысл жизни, оказываются всего-навсего призраками, но не настолько безобидными, чтобы просто взять и забыть их как нечто несуществующее.

Как-то много лет назад сидели мы в пивном баре Московского дома журналиста, я и мой старый знакомый — сотрудник Центрального телевидения Гриша Фрумкин. О чем говорили, не помню, но в конце поспорили по поводу, казалось бы, очевидной вещи. Будучи в душе кристально честным парнем, Гриша вдруг начал высказывать мысли, мягко говоря, сомнительные — что он видит свой профессиональный долг лишь в том, чтобы хорошо писать, и что ему безразлично, кто и во имя каких идеалов использует его материалы...

— Пойми, — говорил он, — я скорняк, я ювелир, я должен быть хорошим мастером, но что получится, если скорняки начнут делать шапки только для прогрессивных людей...

Я говорил, что никогда с этим не соглашусь. В те дни я еще отбывал ссылку в своей шоферской газете. Но думаю, что не подписался бы под ними и позже, когда вновь вышел на всесоюзную арену, сделавшись заместителем редактора отдела экономики журнала "Советские профсоюзы".

Это было в феврале 60 года. Друзья поздравляли, говорили, что я сделал гигантский скачок, и мне самому казалось, что это так, и, может быть, поэтому моральный аспект этого "гигантского скачка" меня вообще не занимал. Хорошая должность, хорошая зарплата, перспектива ездить по стране. Что же еще, философствовал я, нужно " бедному еврею"?

Но подсознательно во мне все же жила успокоительная мысль, что я иду не куда-нибудь, а в рабочий журнал и меня ждет не только неплохая жизнь, но и живая, интересная работа.

Конечно, я шел не в "Новый мир" и даже не в "Огонек".

Наш профсоюзный орган не печатал очерков, не иллюстрировался. В скучной красной обложке он вообще не вызывал желания открыть его. Но его новый редактор Константин Кириллович Омельченко говорил, что его самого тошнит от этой серости и он сделает все от него зависящее, чтобы поднять журнал. Мы не просто должны описывать факты, а предлагать читателю глубокие концепции жизни. В глубине и правде — залог нашего успеха, нашей популярности в глазах читателя.

До войны Константин Кириллович заведовал сектором газет ЦК КПСС. Был он главным редактором "Труда", начальником Главлита, заместителем председателя Всесоюзного Общества по распространению политических и научных знаний.

Я и сейчас его вижу совершенно отчетливо, в масштабе один к одному, как, сняв по обыкновению башмаки (его мучила подагра) и опершись пятками о ковер (его обычная поза), он напутствовал меня в первую командировку.

— Товарищ Перельман! — Он всех называл по фамилиям и даже своего зама Михаила Петровича Гончарука —

товарищ Гончарук. — Что интересует читателя? Завитушки? Трюкачество? Читателя интересует глубина и правда!

И как за тем же столом, изрисовав красным-красно мой первый очерк, он исписал все поля вопросами: "Мысль?" "Концепция?" "Неужели ради этого надо было лететь на Урал?" Я абсолютно не понимал, что от меня хотят — каких концепций, каких глубин в этой простой истории, названной мной "Обида Геннадия Ананичева".

Этот Ананичев работал на одном из цементных заводов под Свердловском и прислал в редакцию письмо. По вине начальника его цеха распалась руководимая им бригада коммунистического труда. Уже из письма, занявшего неполную страничку, все было ясно. Но Константин Кириллович, прочитав письмо, воскликнул:

— Послушайте, Перельман, это же великолепное письмо! Оно дает импульс к глубинным размышлениям о самой сути коммунистического соревнования, посидите на заводе, подумайте...

Я пробыл в командировке целую неделю, переговорил с десятками людей, но так и не почувствовал никакого импульса. Это был старый уральский завод с темными, грязными цехами и вечно мутными от цементной пыли окнами.

Ананичев работал в шамотном цехе, и начальник цеха, чтобы не сорвать план, действительно, перевел некоторых членов бригады на другие участки, и бригада перестала существовать.

Ананичев оказался мягким симпатичным парнем, и когда я появился в цехе, то не понял — был он огорчен или обрадован моему приезду.

— Вот уж не думал, что подымут такой шум, — недоумевал он, и рассказал, как нескладно получилось

с бригадой — то "все делали вместе — в кино ходили, на каток, а теперь все поврозь — не пойми, что стало...".

Я сочувствовал Ананичеву, но старался следовать правде, как и напутствовал меня редактор, и привел даже свой разговор с начальником цеха, где он пытался объяснить, почему так нескладно все получилось. Он был расстроен страшно и, непрестанно утирая с рыхлого лица пот, говорил:

— Вы поймите, товарищ корреспондент, что насчет соревнования я все отлично понимаю и к Генке с его ребятами всей душой. Сам же для них буфет открыл. Но план же, план нас мучает...

На полях рядом с этим признанием Константин Кириллович написал: "Ханжество!" — а место, где говорилось, что начальник цеха организовал буфет, — было жирно подчеркнуто и на полях написано: "Тред-юнионизм!"

Редактор обиженно крутил в руках мое творение, будто я обманул его самые светлые надежды, и не уставая повторял: "Да вы поймите, Перельман, что это просто фактология, а нужна глубина!"

Я трижды перелопатил материал, но нужной глубины так и не достиг. И мой многострадальный очерк был отдан на доработку заместителю ответственного секретаря Володе Давидовичу.

Голубоглазый, с мощной седой шевелюрой Давидович был одним из старейших сотрудников редакции. В душе он считал себя поэтом-песенником и, еще будучи в армии, опубликовал во фронтовой газете несколько бойких частушек.

В журнале Давидович никогда не печатался, зато на него были возложены довольно ответственные, хотя и прозаические обязанности — дотягивать материалы сотрудников до кондиции.

Словом, на другой день на стол редактору была положена статья. От меня в ней не осталось и слова, зато появилась "концепция". Оказывается, добродушный толстяк — начальник цеха — проявил деляческий подход к соревнованию и пробивающиеся в цехе ростки коммунистического труда принес в жертву узкохозяйственному интересу.

Мой заголовок "Обида Геннадия Ананичева" был заменен другим — "На положении пасынков".

В жизни мне приходилось за многое расплачиваться — за увлекающийся характер, за неуживчивость, за критиканский дух. Похоже, что на этот раз я расплачивался за то, чего никогда не видел.

Так начинался мой творческий путь в журнале "Советские профсоюзы". Этот журнал существует и сегодня. Если вы углубитесь во двор дома № 13 по улице Кирова, то обязательно упретесь в длинный желтый дом, стоящий спиной к улице Мархлевского. Это — Дом профсоюзов.

Так вот, если войдете в правый подъезд, с каменным крыльцом,подниметесь на третий этаж и после этого свернете влево, то и окажетесь в коридоре журнала "Советские профсоюзы".

Справа и слева стеклянные дощечки с названиями отделов. Там, где написано "Отдел экономики и зарплаты", за письменным столом, стоящим торцом к окну, я и просидел почти десять лет.

Я написал и отредактировал сотни статей, но смысл этой работы понял гораздо позже, когда в качестве корреспондента журнала ушел в плавание, в Северную Атлантику, и написал об этом плавании роман-дневник с довольно странным на первый взгляд названием "Аква пура".

"Aqua pura" – это дистиллированная, прозрачная, сверхчистая вода. Но если с грехом пополам можно понять ее присутствие в книге о море, то при чем тут журнал "Советские профсоюзы" и что должна значить эта мертвая, давно канувшая в лету латынь?

В романе есть гротескная сатирическая глава, когда главный его герой журналист Михаил Фишер, отправившийся на плавбазе "Северодвинск" в море, вспоминает историю, очень близкую той, что произошла со мной и моим очерком "Обида Геннадия Ананичева".

В отличие от меня его посылают не на Урал, а на высокогорную алтайскую стройку, где долгое время ощущалась острая нехватка воды. Когда Фишер приехал на стройку, то вода уже была, на стройплощадке стояли бачки для питья, в конторках мастеров – сифоны. Был проложен водопровод и построены для рабочих душевые.

Строители угощали московского корреспондента холодной ключевой водой. Они говорили, что с ее появлением вся их жизнь стала другой и даже выросли производственные показатели.

Свой очерк Михаил Фишер назвал "Вода" и не без ощущения своей маленькой победы положил его на стол редактору. Но уже к вечеру материал был препровожден на стол секретарю редакции Володе Гуриловичу с резолюцией: "Примитив и мелкотемье!"

Гурилович избавил очерк от примитива и придал новый смысл многим его понятиям. Рядом с горными родниками, давшими строителям воду, появились "родники инициативы и творчества". И ключом била не только горная вода, но и энергия строителей, взявших новые социалистические обязательства. И даже холодный душ, который люди принимали обычно после рабочего дня, у Гуриловича получил новое осмысление – этим душем

общественность стройки окатывала в стенгазетах и боевых листках лодырей, не желающих идти в ногу с коллективом.

Символ перемен, происшедших на стройке, выражал новый заголовок очерка — не "Вода", а "Вторая вода", то есть не та, что на поверхности, а та, что на глубине; сверхчистая и сверхпрозрачная, которую еще строители водопровода в древнем Риме называли "aqua pura" и которую не мог углядеть мой герой с его тривиальным, поверхностным взглядом на жизнь.

Только уйдя в море, он начинает многое понимать. Оказывается, и здесь "кипят родники творчества", устраиваются бесконечные собрания, принимаются соцобязательства, над которыми не устают потешаться рыбаки, выпускаются стенгазеты, где среди пышных велеречивых фраз о романтиках моря не найти и слова о реальных трудностях людей.

Аква пура — это то, чего я не сумел разглядеть в очерке о бригаде Геннадия Ананичева, но ради чего существовал, да и по сей день существует журнал "Советские профсоюзы".

СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

Каждый год в разгар подписной кампании издательство "Профиздат" выпускает плакаты, посвященные журналу. Они извещают читателей, что в новом году журнал познакомит их с опытом организации социалистического соревнования, привлечения масс к управлению производством, с работой общественных комиссий и многим другим, ради чего я и другие сотрудники редакции летали по всем параллелям и меридианам страны.

Поначалу непросто было находить в гуще заводской жизни "вторую воду". Случалось, она залегала так "глубоко", что о ее существовании не подозревали даже те, кто обязан был ее добывать.

Однажды я был послан редактором на Костромской завод "Строммашина" организовать статью председателя завкома Владимира Чаркова. Тему ее Константин Кириллович сформировал так: "Формы и методы контроля общественности за развитием изобретательства и рационализации."

Председатель завкома встретил меня великолепно и даже послал на вокзал машину. Но, услышав тему, посмотрел на меня таким ошалелым взглядом, будто я предложил ему на моих глазах ращепить атомное ядро или продемонстрировать сеанс телекинеза. Наконец Чарков сообразил, что заниматься столоверчением, то есть писать статью, придется мне, а ему только подписывать, и послал меня в цеха. Там я, разумеется, ничего не нашел, и когда не солоно хлебавши сел в гостинице за статью, то мое занятие в некотором роде действительно напоминало столоверчение.

Не найдя реальных общественных контролеров, я начал вызывать духов — в виде постоянно действующих контрольных постов, рейдовых бригад, советов новаторов, смело вводил в эти призрачные организации живых людей — работников завода. Они действовали, спорили с начальством, вносили предложения — словом, на третий или четвертый день моя "aqua pura" зажурчала как живая. Я положил на стол председателя завкома его десятистраничную статью. Прочитав ее, он оживился и жизнерадостно воскликнул:

— А ведь работаем, черт возьми, только рассказать не умеем, — и подписал статью.

Труднодоступностью второй воды и ничем более, вероятно, объяснялся тот факт, что постоянный актив журнала состоял из одного-единственного автора Бориса Гольдштейна, маленького человека, чрезвычайно одаренного, но отсидевшего пять лет по пятьдесят восьмой статье и не имевшего возможности нигде устроиться.

Омельченко, лично знавший мать Гольдштейна, работавшую когда-то в "Правде", относился к нему вполне благожелательно и доверял едва ли не самые трудные задания. Ему приходилось выполнять такие сеансы столоверчения, перед которыми бледнел мой контроль общественности на "Строммашине"...

Однажды Константин Кириллович вызвал Бориса и сказал:

— Послушайте, Гольдштейн, нам нужен хороший очерк о ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом. Поезжайте в Горький на автомобильный завод, полазьте по цехам. Это будет просто чудесно, если мы напечатаем такой очерк.

Борис неделю не вылезал с завода, но не мог найти и следов того, за чем приехал. Дело его было совсем плохо, но неожиданно он встретил в сборочном цехе одного пожилого слесаря по фамилии Жуков. Слесарь стоял, склонившись над верстаком, с карандашом за ухом и чертежиком в руках, и этот его вид навел Бориса на ошеломляющую мысль. Он подошел к рабочему и робко поинтересовался, читает ли он чертежи.

— Ну, а как же, — ответил тот. — У нас все их читают, без этого нельзя.

— А не бывает ли так, — продолжал Борис, почувствовав, что набрел на золотую жилу, — что вы вносите поправки в эти чертежи?

— Почему нет, бывает, — ответил слесарь, — вот здесь хоть, — показал он на чертежик, — думаем сточить резец на конус.

Рабочий поправляет чертежи инженера, значит, он является его соавтором, а раз так, то, следовательно, приобщается к умственному труду. Таким был ход мыслей Бориса, и через несколько дней он положил очерк на стол Омельченко.

Однако история этим не кончилась. Константина Кирилловича смущало одно обстоятельство — почему автором материала о рабочем, приобщившемся к умственному труду, должен быть приезжий журналист Гольдштейн.

Не логичнее ли, чтобы он выступил в соавторстве с каким-нибудь хорошим рабочим, знающим суть дела, но не умеющим изложить свои мысли на бумаге.

Почему бы Гольдштейну не выступить в соавторстве с бригадиром бригады, что вырастила передового слесаря Жукова? Давидович тотчас согласился с Константином Кирилловичем, он вообще не имел обыкновения с ним спорить, и у Гольдштейна появился соавтор — бригадир бригады слесарей.

Но очерк этот, как больная мозоль, не давал покоя Константину Кирилловичу. Читая его в верстке, он снова собрал секретариат и, вопрошающе глядя на Давидовича, сказал:

— Очень хороший материал, глубокий, чувствуется знание жизни, но положа руку на сердце при чем тут Гольдштейн? Рабочий пишет о рабочем. Это же чудесно!

— Но он же автор, — не выдержал и робко возразил Володя.

— Кто? — удивился Константин Кириллович.

— Гольдштейн.

— Поймите, товарищ Давидович, я же об этом не говорю, — поморщился редактор, — автор, не автор. Я имею в виду интересы читателя, Гольдштейну компенсируем на гонораре. Фамилия Гольдштейна была снята, и это был действительно очерк рабочего о рабочем. И вообще все было бы чудесно, если бы бригадир бригады слесарей после выхода журнала не написал в редакцию обиженное письмо. Он никогда такой ерунды не говорил и сказать не мог, чтобы Петька Жуков был умнее технолога, и требует, чтобы за это фантазерство кому надо всыпали.

Впрочем, все это была редакционная кухня, мало кому известная. "Советские профсоюзы" платили хороший гонорар, и к нам постоянно шли внештатники, предлагавшие свои услуги. Если они выезжали в командировку, то Константин Кириллович сам таких инструктировал и всякий раз не забывал упомянуть, что читателя интересует глубина и правда. Внештатник согласно кивал головой, говорил, что он и сам всегда стремится писать глубоко и правдиво, не подозревая, конечно, ни о второй воде, ни о телекинезе, которым ему придется заниматься, чтобы ее добыть. Кончалось тем, что материал шел на доработку Давидовичу и чаще всего летел в корзину. При Омельченко напечататься в "Советских профсоюзах" было труднее, чем в "Новом мире".

Поднять журнал ему так и не удалось, хотя он с фанатичным самозабвением просиживал над ним по двенадцать часов в сутки. В дни, когда носили верстку, он вообще не обедал и лишь время от времени открывал боковой ящик стола и отщипывал от черствой горбушки маленькие ломтики.

На стадии верстки, когда переделывать материалы было уже поздно, его более всего волновали заголовки. Как всегда, начиналось с вызова заместителя ответственного секретаря:

— Товарищ Давидович, когда кончится это трюкачество? — на лице редактора появлялось выражение неизгладимого страдания.

— А в чем дело, Константин Кириллович? (Когда Володя волновался, он не выговаривал "р" и произносил "Кихилович".)

— Товарищ Гончарук, он спрашивает меня, в чем дело, — поворачивался он к своему заму — в такие дни зам с утра уже был в кабинете у главного. — Что это за заголовок для серьезной статьи председателя Молдавского Совета профсоюзов — "Правофланговые"? А мы кто с вами или вот товарищ Гончарук — левофланговые?

— Но так обычно говохат, — ест редактора своими голубыми глазами Володя.

— Говорят, Давидович, что кур доят, нужен хороший серьезный заголовок, выражающий суть соревнования за коммунистический труд. Идите и подумайте.

Через полчаса или час мощная седая голова Володи появляется снова в дверях.

— Ну как?

— "Пионеры будущего", Константин Кихилович!

— "Пионеры будущего"? — медленно и осторожно повторяет редактор, будто сапер, ищущий тайно подложенную мину. — Как, товарищ Гончарук? — Гончарук предпочитает с ответом не спешить, и лицо Константина Кирилловича, осененное новой идеей, мгновенно просветляется: — Знаете, друзья, есть один хороший анекдот. У егупецкого еврея родился сын, и он ужасно мучился, какой записать ему год рождения. Пошел посоветоваться к ребе: "Хоть убейте, ребе, не знаю, что делать. Записать прошлым годом — так он загремит в армию вместе с Шмулем, с кем же останусь я? Записать будущим — так у Песи может родиться еще сын — возьмут сразу двоих. Записать на два года вперед — мальчика забреют совсем

ребенком, тоже, ребе, не хочется". Ребе его слушал, слушал и говорит: "Послушайте, любезный, вы перебрали все варианты, но об одном забыли — а что если записать как есть?!"

— Чудесный анекдот! — смеется Гончарук.

Володя тоже улыбается.

— Так, — продолжал Омельченко с тем же осененным лицом, — почему бы нам не озаглавить статью просто и ясно, как записано в решениях четвертого пленума ВЦСПС: "Развивать соревнования за коммунистический труд". Как, товарищ Гончарук?

— Хороший, мобилизующий заголовок, — говорит замредактора.

— А что? Просто и ясно, — улыбается счастливой улыбкой Давидович.

Наконец-то, кажется, кончились его муки. Но праздновал он преждевременно. Наутро редактор снова вызывал его и устраивал очередной разнос за заголовок к статье о постоянно действующих совещаниях на Горьковском автозаводе.

— "Хозяева производства!" — возмущался Омельченко. Вы меня до инфаркта доведете с этими вашими мудреватыми кудрейками. О чем идет речь, товарищ Гончарук?

— Об участии масс в управлении производством.

— Так и пишите это! Почему нельзя выразить мысль точно?

Статья шла по моему отделу, и я попробовал вступить с Константином Кирилловичем в спор. Я сказал, что читателю вряд ли понравится, если мы все будем давать в лоб. Редактор посмотрел на меня взглядом, в котором легко было прочитать нечто близкое к жалости.

— Послушайте, Перельман, сколько вам лет? — спросил он.

— 31, — ответил я.

— Вот когда вам будет столько, сколько мне, вы поймете, что главный наш читатель сидит не там, — показал он пальцем на пол, — а там! — вскинул он его вверх. — И там не будут вчитываться в наши шарады "хозяева, не хозяева". Там должны открыть оглавление и сразу все увидеть: понимаем мы свои задачи или нет.

Но, будучи человеком увлекающимся, редактор и на этот раз увлекся до того, что даже в ВЦСПС, руководителей которого можно было упрекнуть в чем угодно, но только не в симпатиях к журналистским шарадам, стали поговаривать "что-то журнал стал суховат".

Впрочем, сняли Константина Кирилловича не за то, что он засушил журнал, а за интриги и склоки. Этого в ВЦСПС не могли терпеть, поскольку там вообще не любили никакого шума по своему ведомству.

Омельченко даже не сняли. Просто он подал заявление с просьбой освободить его по собственному желанию. Он сделал этот демарш, чтобы укрепить свое положение и разделаться с недругами, а секретарь ВЦСПС Татьяна Николаевна Николаева взяла и подписала заявление.

По своему характеру Константин Кириллович был не только темпераментным человеком, но и бойцом.

В Главлите он не ужился с одним из секретарей ЦК и обратился с жалобой к Молотову и Кагановичу.

С этого и начался его закат. Во Всесоюзном Обществе по распространению политических и научных знаний он написал письмо по поводу бездеятельности его президиума и предложил распустить общество. Президиум не распустили, зато Омельченко спровадили в журнал "Советские профсоюзы".

В нем было-то всего 35 сотрудников, но ко дню моего прихода доброй половине было предложено подыскивать себе работу. Вскоре и я чуть не оказался среди них.

Через месяц, после того как я пришел в журнал, меня вызвал редактор и сказал:

— Поверьте, Перельман, что мне очень нелегко, но что-то у нас с вами не получается. — Он долго говорил о моем неумении разрабатывать тему и давать читателю новые концепции и, дождавшись, пока выйдет из кабинета Гончарук (своему заму он не доверял с первого же дня), сказал: — А во всем, Перельман, вините свой язык. Что вы вчера сказали человеку Гончарука Давидовичу?

Я и сейчас не знаю, почему голубоглазый и наивный как ребенок Володя Давидович был зловеще охарактеризован как человек Гончарука и что за ужасную фразу я ему сказал накануне. Но за год совместной работы с Омельченко я успел пережить еще одно падение и еще один взлет, и, когда в начале 61 года Константина Кирилловича проводили на пенсию, я уже был редактором отдела экономики.

Проводы Константина Кирилловича являли картину довольно печальную. Татьяна Николаевна, приехавшая по этому случаю в редакцию, решила одновременно представить и нового редактора, бывшего ответственного секретаря газеты "Труд" Андрея Дмитриевича Блинова.

Процедура передачи власти происходила на общем собрании сотрудников. Блинов расположился в стороне на стуле, положив руки на колени и с интересом нас разглядывая.

Константин Кириллович сидел за своим письменным столом. Держался он великолепно, пытался шутить то с Давидовичем, сидевшим от него по правую руку, то с расположившейся рядом с ним и, как всегда, исполненной достоинства Татьяной Николаевной.

Поистине судьба играет человеком. Один из наших неудавшихся авторов, бывший работник Главлита расска-

зывал, что в его бытность фамилия Омельченко наводила ужас на всех, вплоть до министров. Бывало, зайдешь, вспоминал он, к Константину Кирилловичу ночью. При нем Главлит работал в основном по ночам. Стоит на огромном ковре, сняв ботинки, и диктует стенографистке:

"Секретарю ЦК КПСС, председателю Совнаркома товарищу Сталину. Докладываю, что в нижеперечисленных изданиях, выпущенных такими-то министерствами, допущено разглашение государственной тайны. Вношу предложение: министра такого-то с работы снять и привлечь к уголовной ответственности. Дело такого-то передать на рассмотрение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС..." По словам нашего автора, Сталин любил Омельченко и на его представлениях чаще всего писал "согласен".

И вот теперь какая-то никому не известная Николаева снимала некогда могущественного аппаратчика и любимца самого Сталина.

Татьяна Николаевна прочитала нам длинное и обстоятельное решение ВЦСПС о плохой работе журнала и сообщила, что Константин Кириллович подал заявление с просьбой отпустить его на пенсию.

— Мы тут посоветовались и не стали возражать, — сказала Татьяна Николаевна, — у вас, товарищи, будет новый редактор — человек молодой, энергичный, к тому же, писатель.

Татьяна Николаевна кокетливо поправила волосы, засмеялась и взглянула на нового редактора. Тот тоже улыбнулся своим широким с маленькими щелками глаз лицом. И все мы, сидящие в кабинете, тоже неизвестно чему заулыбались. Лишь Омельченко сидел прямой и неподвижный, и в его больших глазах таилась безысходная грусть.

С тех пор я потерял его из виду, и лишь однажды — прошло лет пять-шесть — мы с Кленовым встретили его на улице Горького.

Его маститую фигуру в черном с каракулевым воротником пальто и в такой же каракулевой высоким пирожком шапке я увидел еще издали. Но не одеянием и даже не отсутствующим, отрешенным взглядом он резко выделялся среди прохожих, а тем, что шел и что-то беззвучно шептал себе под нос.

— Посмотри, Омельченко! — ткнул я в бок Кленова. — Что он лепечет?

— Передовую о коммунистическом труде, — засмеялся Кленов, — наша цель состоит в том, чтобы еще шире развернуть движение разведчиков будущего.

Больше я его не видел и даже не знаю, жив ли он. Но в памяти он таким и остался — призраком в каракулевом пирожке, шагающим среди живого уличного люда и что-то шепчущим себе под нсс.

Похоже, что отстраненный от жизни, перекочевав из пространственного мира во временной, он не очень-то уютно себя в нем чувствовал.

Временной мир — это мир философский. Он ничего не забирает, ничего не дает. В нем можно жить лишь прошлым. А прошлое Константина Кирилловича и ему подобных — это несуществующая глубина и правда, мертвая и неосязаемая "aqua pura". Будучи не в состоянии ее представить, Константин Кириллович, возможно, пытался вызвать ее такими же призрачными, как она, словами.

Трагическая ситуация — убедиться в старости, что ничего в жизни тобой не создано, кроме призраков!

В свою бытность редактором Омельченко любил вспоминать о Лазаре Моисеевиче Кагановиче, под чьим руководством ему пришлось много лет работать. С осо-

бым восторгом редактор отзывался об энергии "железного наркома", его умении руководить людьми.

Впервые о Лазаре Моисеевиче я услышал из его уст, когда бился над очерком об Ананичеве.

Я выполнял указания редактора одно за другим, а материал ему не нравился.

— Но ведь сделано все, что вы сказали! — не выдержал я.

Омельченко снисходительно улыбнулся:

— Однажды, Перельман, я то же самое заметил Лазарю Моисеевичу. Так, знаете, что он ответил? "Омельченко, если бы я хотел, чтобы вы сделали то, что я сказал, я бы сделал это сам. Вы должны сделать лучше!"

Все это я вспомнил в один прекрасный день, когда шел по Фрунзенской набережной и увидел живого Кагановича. Мучимый одышкой, не очень опрятно одетый, он медленно плелся по тротуару, осторожно обходя крутившихся под ногами ребятишек. Видно, боялся, чтобы не сбили с ног.

Прохожие бесцеремонно обгоняли Лазаря Моисеевича, не подозревая, что эта толстая, едва передвигающаяся развалина — живые останки "железного наркома" — верного друга и соратника "великого Сталина".

Было что-то общее между ним, плетущимся по Фрунзенской набережной, и лепечущим себе под нос Константином Кирилловичем Омельченко.

Кто о них теперь помнил? Кому они нужны? Что оставили, уйдя во временной мир? Призрачная жизнь, сколь бы значительной она ни казалась, в старости жестоко мстит за себя.

СКОРНЯК ПОНЕВОЛЕ

Новый редактор являл собой полную противоположность Омельченко. Внешне Константин Кириллович был сама респектабельность с его седыми бровями и плотным серебряным бобриком над квадратным лбом. И даже его расшнурованные ботинки, вечно стоявшие рядом на ковре, были колоритной деталью, дополнявшей его облик.

Андрей Дмитриевич был сама русская простота, круглый, светлый, с широкой до ушей улыбкой. В облике Блинова не было ничего писательского. Он в первый день собрал нас, заведующих отделами, и, усадив вокруг себя (сам вышел из-за редакторского стола и сел на обычный стул) , сказал:

— Ну что, ребята, будем делать журнал?

После Омельченко такое обращение прозвучало, как залп "Авроры".

— Ну, ей-Богу, сердцу больно, когда держишь в руках эту сухотку, — темпераментно тряс Андрей Дмитриевич последний номер журнала, подписанный Омельченко.

— Совершенно верно, Андрей Дмитриевич, — просиял Володя Давидович. На его счету это был уже третий редактор, и каждый вселял в него новые надежды.

Блинов рубил полным кулаком по воздуху и говорил о том, что профсоюзы — это самая массовая организация рабочего класса и наш журналистский долг — показать всю красоту и обаяние рабочего человека. Нам нужна не только профсоюзная статья, но и заметки журналиста, и писательский очерк, и даже хорошая рабочая песня!

— Святые слова! — снова поддержал Володя Давидович, в сиявшем лице которого я прочел нездоровое желание "протолкнуть" что-нибудь свое.

Вскоре в журнале стали один за другим появляться собратья Андрея Дмитриевича по перу. Хотя и не очень известные, но, по словам редактора, душевно привязанные к рабочей теме. Они звали Блинова по-свойски Андрей. Входя в кабинет, они на моих глазах по-братски целовались с ним.

— Вы не знакомы? — расплывался в улыбке Андрей Дмитриевич. — Это наш редактор отдела экономики Виктор Борисович. — Фамилию мою он не называл. — А это рабочий писатель Михаил Тихомиров, автор книги "Генерал Лукач".

Тихомиров — маленький лысеющий человек, обнявшись с Блиновым, подходил к его столу.

— Ну что, Мишенька, что ты нам сделаешь? Передовую?

— Погоди, Андрюша, давай посидим, перетолкуем это дело.

— Только смотри, Миша, чтоб на хорошем русском языке, а то напишешь на каком-нибудь "китайском".

Через неделю Тихомиров принес передовицу. Положи я это произведение на стол Омельченко, его хватил бы инфаркт.

Передовая начиналась так: "Кто все же открыл Америку? Америго Веспуччи, Эрик Рыжий или Христофор Колумб?" Оказывается, "Рождение нового человека после Октября" Михаил Тихомиров сравнивал ни больше ни меньше, как с открытием Америки. Такого "трюкача" Омельченко не подпустил бы на три пушечных выстрела. Но Андрею Дмитриевичу статья понравилась, и она сразу же пошла в набор, если не считать маленького инцидента все с тем же Давидовичем. Он дал статье самый живой из всех заголовков, какие когда-либо предлагал Омельченко: "Всегда в разведке".

Андрей Дмитриевич саркастически усмехнулся:

— Что, кроме вашей разведки, Владимир Соломонович, в русском языке слов нет?

И, зачеркнув выстраданный в боях с Омельченко Володин заголовок, написал: "Будущее шагает с нами". Вскоре вернулся из командировки Борис Гольдштейн. Он привез статью дважды Героя Социалистического Труда Алексея Улесова "Чем красив человек".

Улесова Борис знал давно, писал за него не впервые. Были в этой статье и ссылки на фадеевский "Разгром", и разговор о духовном облике советского рабочего и о его святой обязанности неустанно бороться с пережитками прошлого — пьянством, хулиганством и прочим.

Вслед за Борисом в редакции появился сам Улесов. Он оказался очень скромным на вид человеком, почти таким же стеснительным, как маленький Гольдштейн, который привез его в редакцию. Я дал Улесову статью. Он напялил очки и, закончив чтение, долго выводил в конце свою подпись: Алексей Улесов.

— Все правильно, так их и надо!

— Кого их? — переспросил я.

— Тунеядцев, пьянчужек, кого же еще? Верно говорю, Борис, или нет?

Позже я узнал, что Алексей Александрович — автор более пятидесяти статей и более десятка книг о коммунистическом воспитании. Одно из своих произведений он подарил лично Никите Сергеевичу Хрущеву и вскоре после этого был принят в Союз журналистов СССР.

Новый редактор от статьи Улесова был в восторге:

— Замечательная штука! Таких бы материалов нам побольше, и, главное, чувствуется русский рабочий. Молодец, Алексей Александрович!

У меня язык не повернулся омрачить настроение Блинова, и я не стал говорить, как готовилась статья, в конце концов, это внутриотдельская кухня. Но когда

журнал вышел в свет и Андрей Дмитриевич утверждал гонорарную разметку, он пригласил меня к себе и спросил:

— Виктор Борисович, а кто такой Гольдштейн?

Я ответил, что это старый наш автор и отличный журналист.

— А Лившиц? А Грузд?

Я объяснил, что это тоже журналисты, которых я привлек для организации статей рабочих.

— А что, наши рабочие обеднели на мысли, не могут обойтись без Гольдштейна и Лившица?

На том и кончился наш разговор, но пройдет еще время, прежде чем я пойму, что, в отличие от догматика и сухаря Омельченко, новый редактор, встреченный нами с таким восторгом, окажется отпетым антисемитом. Правда, уже не таким циничным, как Бутов и Ликовенков, не сталинского, а, скорее, хрущевского типа — юдофобом-романтиком, чья квасная любовь к русскому народу и к русскому рабочему классу всегда сопровождалась неприязнью к евреям.

Незадолго до отъезда в Израиль я случайно оказался в Московском доме журналиста. Спустился, как бывало, в пивной бар. Взял кружку пива с черными присоленными сухариками. Сел за мраморный столик и тотчас оказался в прошлом, среди несмолкавших ни на минуту голосов: "Старик, только что столкнул четыреста строк. Устал как лошадь!" Или: "Читал тебя, лапонька, в "Труде", отличную выдала штуку". Или: "Лечу завтра утром в Сибирь, за неделю должен выдать лист!"

Верил ли я в то, что писал? Честно говоря, я не слишком мучил себя этим вопросом. Сама постановка его была беспредметной, потому что у меня не было выбора.

К тому же с моим пятым пунктом не так-то просто было найти другую работу, да и что могла она дать. Так что

в чем-то Гриша Фрумкин был определенно прав. Я был всего-навсего скорняк, но с одной существенной оговоркой — скорняк поневоле.

Во мне как бы жили два человека. Как профессионал, поставленный в определенные условия, как система, работающая в заданном режиме, я не мог стать никем иным. Но я был еще и живой человек с определенными взглядами на жизнь. Я был еще и еврей с бродильными генами и неунывающим, веселым характером Менахем-Мендла. Вот так мы и сосуществовали в этом тандеме. Один не покладая рук работал, летал по стране, ходил на совещания в ВЦСПС и руководил ведущим отделом в журнале. Другой... Другой улыбался и все, что ни делал первый, считал суетой сует, мало чего стоящей рядом с этой иронией и улыбкой.

Мне кажется, что уже тогда во мне зрело новое отрицание, и эта ирония предвещала день, когда сидящий во мне критикан взбунтуется и я снова стану самим собой. Вспомнив о назначении журнала защищать человека, я вырвусь из мира призраков и напишу статью о реальной жизненной драме 20-летней Нади Харченко, доведенной ее грузинским окружением до попытки самоубийства. Об этой истории, едва не кончившейся для меня трагично, я еще буду писать, а пока о том, что ей предшествовало. А предшествовали ей обычные редакционные будни. Каждый, полагал я, добывает хлеб как умеет. Моей пашней был журнал "Советские профсоюзы".

Когда я оказывался в интеллектуальных компаниях и сообщал, где работаю, на лицах появлялись странные улыбки. Наверное, хлеб инженера или физика был более приятен, чем профсоюзного журналиста, информирующего читателя о том, чего нет в природе, — тем не менее это был все-таки тоже хлеб и тоже труд. И поскольку я им обязан был заниматься, то старался найти в нем ка-

кие-то безусловные ценности. Такой ценностью стал мой отдел экономики, точнее, появившиеся в нем люди и царившая в нем обстановка.

Чем дальше, тем меньше вмешивался Андрей Дмитриевич в нашу жизнь. Не без влияния ВЦСПС он довольно скоро утратил свой романтизм и иллюзии, касающиеся журнала. И если еще недавно на полях статей профсоюзных работников писал: "Серятина, тошнит! Что за язык?", то теперь уже на полях многих очерков мы читали: "Пустые байки! Где профсоюзы, где опыт?"

Каждую свободную минуту Андрей Дмитриевич отдавал новому своему роману "Иначе жить нельзя".

В романе речь шла о трагедии молодого рабочего, оказавшегося из-за пристрастия к "зеленому змию" вне родного коллектива. Идею романа горячо поддерживал Кочетов, и Андрей Дмитриевич спешил к назначенному сроку сдать свое произведение. Благодаря этому он дал мне возможность все решать самому, даже подбирать кадры, следя лишь за их фамилиями, и взял двух выпускников журналистского факультета МГУ — Петрова и Родина. Петров, похожий на боксера-тяжеловеса с неизменной улыбкой и открытым русским лицом, сибиряк. Родин — замкнутый, сутуловатый москвич — впрочем, все это внешне, а внутренне оба имели то принципиальное сходство, что не были испорчены жизнью и к тому же оба любили и понимали юмор.

Мне было немногим более тридцати, но рядом с ними я чувствовал себя пожилым человеком и ловил себя на желании воспитать их в своем духе — в ироничном, лишенном ханжества духе человека, который хоть и умеет писать глубокие и аналитические статьи о соревновании, тем не менее знает им цену, как и многому тому, чем вынужден заниматься в жизни.

В нашей комнате трудно было услышать фразу без юмора, мы одинаково любили шутку и одинаково ненавидели глупость и ханжество.

Позже Блинов говорил, что Перельман испортил хороших ребят. Еще позже, перед уходом из журнала, он разоткровенничался с Петровым:

— Посмотри, Коля, на меня и на себя, — сказал он, — оба мы светлые, широкие, русские, а что ты нашел в этом Перельмане, хоть убей не пойму!

По-видимому, писательское ви́дение, о котором так любил говорить Андрей Дмитриевич, не помогало ему понять отношений, сложившихся между нами. С точки зрения Блинова я, возможно, и выглядел человеком, отравляющим своим бродильным еврейским духом хороших честных ребят.

Но на самом-то деле их "воспитывала" сама действительность. Моя же роль была куда более скромной — я просто старался показывать им ее такой, какой она была. Я считал, что юмор и ирония были единственным способом ви́дения жизни, о которой мы писали на страницах журнала, и потому хотел, чтобы они смотрели на эту жизнь не тусклым взором партийных ханжей и бюрократов, а иным, веселым и понимающим взглядом. Впрочем, этот юмор был тоже своего рода уходом от действительности. Она выдвигала свои реальные проблемы, она наступала на пятки, и не было в том гражданской смелости, чтобы, видя эту действительность и ее проблемы, тихонько потешаться над ней, не пытаясь ее изменить.

Подсознательно я это никогда не переставал чувствовать. И даже в годы, казалось бы, наибольшего своего успеха. Процветающий, великолепно зарабатывающий, имеющий в журнале все, что нужно человеку для благополучной жизни, я все же оставался решительно недовольным собой. Чем больше было благополучия, тем больше

внутреннего, неосознанного чувства — что живу не так, как должен.

По-видимому, новое отрицание набирало силы, и сидящая во мне мина замедленного действия, как некогда в деле Великовского, снова ждала своего часа. Но когда осенью 61 года я выехал в город Рустави проверять письмо некоей Харченко, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, я меньше всего подозревал, что момент взрыва совсем уже близок. Так же, как я не почувствовал его приближения и второй раз, когда летом 67 года ушел в плавание в Северную Атлантику.

СНОВА БУНТ

Письмо Нади Харченко застало меня в Тбилиси. Я занимался распространением журнала. Жил в отличной интуристовской гостинице "Сакартвело" и пребывал в самом что ни на есть безоблачном настроении. Письмо это было мне переслано из Москвы заведующим отделом писем и консультаций Комечем. Он извинился, что вторгается в мои планы и просил, если выкрою время, выехать в Рустави и проверить письмо одной девицы, пытавшейся свести счеты с жизнью.

От Тбилиси до Рустави какой-нибудь час езды, и когда на следующее утро я сел в автобус, то к обеду уже рассчитывал быть обратно. Однако не вернулся ни к обеду, ни к ужину, ни назавтра. Просидел в Рустави безвылазно восемь дней, и когда летел обратно в Москву,то в голову уже ничто не лезло, кроме дела Харченко.

Под влиянием слов Комеча, а может быть, и собственного воображения, я ожидал встретить нервическую особу, и эта особа, полагал я, тут же насядет на меня со своими истерическими жалобами и будет требовать, чтобы

журнал немедленно вмешался. Подобная перспектива меня определенно не вдохновляла. Но Харченко оказалась лет девятнадцати девочкой, встретившей меня в больничном бумазейном халате. Была она очень общительна и спокойна и ни одной чертой своей не напоминала тот театральный персонаж, что засел в моей голове перед выездом в Рустави. (Позже я узнал, что и письмо-то писала не она, а ее тетка.) Мы вышли на лестничную площадку, и она рассказала мне все, что произошло.

Это была, в сущности, обычная житейская история со всеми ее атрибутами, ранним замужеством и ранним разводом, происшедшим из-за того, что негде было жить. Присутствовал в ней даже несостоявшийся герой-любовник — Надин начальник Важа Шенгелая, допекавший Надю бесконечными придирками за ее неуступчивость. Необычной разве была сама Харченко, интуитивно понравившаяся мне с первой же минуты. Была в ней какая-то внутренняя чистота, без всякой игры, без всякой назойливости. И все же, когда я выходил из больницы, я еще далеко не был уверен, что буду писать.

Все решила встреча с ее лечащим врачом Давидашвили. Я называю точно все фамилии, поскольку материалы дела до сих пор хранятся у меня.

Так вот я стал выяснять у Давидашвили, в каком состоянии доставили Харченко после ее попытки самоубийства.

— Какое самоубийство? О чем вы? — удивленно переспросила Давидашвили. — У нее обычное заболевание желудка — гастрит с повышенной секрецией. И в подтверждение своих слов показала историю болезни Харченко, где действительно черным по белому был записан диагноз: "Обострение хронического гастрита".

— Но вы же не станете отрицать, что она выпила ацетон? — не отступал я. — К тому же и температура у нее поднималась до сорока.

— Слушайте, вы видели, как она пила этот ацетон?— уже с раздражением перебила меня Давидашвили. — Я тоже нет!

Это было уже свинство, варварство...

Из больницы я поехал в прокуратуру, откуда в день отравления приезжал к Наде следователь Джапаридзе.

— Отравление? — встретил он меня с тем же удивлением. — Кто вам сказал? Да она, если хотите, мне даже улыбалась.

Вероятно, я испытывал то же ощущение, что и несколько лет назад, когда Тарасов показал мне составленную им справку по делу Великовского. И моя реакция бы та же, совсем не проистекающая из моих интересов: в деле Великовского — каяться и признавать ошибки, в деле Харченко сделать вид, что ничего не произошло: гастрит так гастрит, Харченко-то осталась жива.

Какой-то внутренний голос мне подсказывал, чтобы я не связывался, что это Грузия, что я все равно ничего не добьюсь, а только наживу неприятности. Но уехать уже не мог.

Со следующего дня я приступил к методической проверке фактов. Напрасно в парткоме и завкоме Закавказского металлургического завода, где работала Харченко, меня пытались убедить какой у них хороший коллектив. Мол, стоит ли, чтобы из-за какой-то истерички пало пятно на все передовое предприятие. Но меня интересовали только факты. Я переговорил с десятками людей. Они рассказали, как профком центральной лаборатории, где Надя была лаборанткой, из года в год отказывал ей в жилье, как изо дня в день подводил ее к трагедии Шенгелая, как на глазах у подруг она выпи-

ла пузырек ацетона и потеряла сознание, а работники скорой помощи по какой-то странной рассеянности забыли послать рвотную массу на судебно-химическую экспертизу.

Я вернулся в Москву и за одну ночь написал статью, вышедшую, впрочем, под довольно тривиальным заголовком "Люди с каменным сердцем".

Статья была напечатана в третьем номере журнала за 1961 год. Бой из-за нее разгорелся еще на редколлегии, когда обсуждался номер. Заведующий культмассовым отделом ВЦСПС Сиснев заявил, что материал слишком мрачен, что он даст оружие нашим врагам за рубежом.

— Не знаю, как вам это объяснить, но мне партийное чутье подсказывает, что мы должны воздержаться, — говорил Сиснев. Он так и сказал: "партийное чутье", и я хорошо запомнил эти слова. Они отражали безошибочный классовый инстинкт, всегда объединяющий недругов моих материалов.

В статье моей была не просто злость фельетониста, возмущенного увиденной несправедливостью. Я обрушивался против громких слов и призрачных ценностей, прикрываясь которыми руководители завода пытались творить произвол. И оттого, что мне самому годами приходилось воскуривать фимиам этим псевдоистинам, оттого, что я слишком долго проходил мимо живых фактов жизни, — я, наверное, писал злее обычного.

Вскоре после выхода журнала пошли письма. Единственно, кто набравши воды в рот молчал, были власти Грузии.

Окольными путями до меня доходили слухи, что в Рустави работает комиссия грузинского ЦК КПСС. Члены комиссии вызывают Харченко и упорно пытают-

ся установить, не являюсь ли я ее родственником и не получил ли от нее взятку.

Назревала борьба, и из нее мы, то есть журнал, вряд ли выйдем победителями, если не заручимся серьезной поддержкой. Такую поддержку мог оказать только никого и ничего не боявшийся Аджубей.

Через несколько дней в "Известиях" была опубликована колонка от коллективного корреспондента журнала "Советские профсоюзы", лаконично озаглавленная "Это случилось в Рустави" и задававшая вопрос — до каких же пор намерена молчать Грузия.

После выхода "Известий" я обрел спокойствие, полагая, что вряд ли кто-нибудь решится конфликтовать с зятем Хрущева. Но так же, как и позже, в "Литературной газете", где я уповал на помощь друга Брежнева министра внутренних дел Щелокова, я недооценивал такого важного фактора, как классовая самозащита партийной бюрократии.

На выступление газеты Грузия откликнулась тотчас же — состоялось внеочердное заседание ЦК партии республики. Статья Перельмана "Люди с каменным сердцем" была подвергнута сокрушительному разгрому, а первый секретарь ЦК Мжаванадзе направил письмо в три адреса — первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву, председателю ВЦСПС Гришину и главному редактору газеты "Известия" Аджубею.

Надо мной нависло новое дело Великовского, но грозившее куда более зловещим исходом. Наутро после заседания ЦК Грузии я отправился к Аджубею на прием.

Помощник обещал доложить о моем приходе, но в эту минуту Алексей Иванович уже в пальто вышел из кабинета сам и направился к лифту. Я последовал за ним, и мы вдвоем оказались в спускавшейся вниз кабине.

После 55 года, когда я видел Аджубея на вечере в ЦДРИ, он сильно располнел и обрюзг. Но он явно желал в моих глазах сохранить ореол демократа, которым наделила его молва. Он любезно подал мне руку и сообщил, что только что говорил по телефону с Мжаванадзе.

— Ну и что же? — спросил я.

— А! — махнул рукой Алексей Иванович. — Я, между прочим, ему прямо сказал: "Василий Павлович, я вас просто не понимаю!"

Лифт остановился, и вслед за Алексеем Ивановичем я вышел на улицу. О чем говорить дальше, не знал и зачем-то спросил у Аджубея, что делать с письмами, идущими в журнал.

— Может быть, принести вам в редакцию? — спросил я.

— Пожалуй! — рассеянно ответил Алексей Иванович и сел в черный ЗИМ.

Через несколько дней меня и Блинова вызвал к себе заведующий сектором профсоюзов ЦК партии Федотов.

Федотов начал разговор изысканно вежливо и даже по-дружески.

— Ну что, друзья, скажете? — перед ним лёжало письмо Мжаванадзе на имя Хрущева. — И как вообще вы могли дойти до жизни такой? — кивнул он на письмо.

— На наш взгляд, мы правы, — неуверенно начал Блинов.

— Так... — саркастически улыбнулся Федотов, и его жесткие черты лица стали еще жестче, — вы правы, а Центральный Комитет партии Грузии и Василий Павлович Мжаванадзе ошибаются.

— Но у меня все факты по этому делу, — мягко возразил я.

— У него есть факты, слышали? — снова усмехнулся Федотов, на миг мне показалось, что само слово "факты"

вызвало у него прилив раздражения. — Да у нас есть факты в сто раз почище ваших, ну и что отсюда следует? Вы член партии? — вдруг он испытующе посмотрел на меня и, услышав вопреки своим ожиданиям утвердительный ответ, сказал. — Не чувствуется, говорю вам прямо!

Я хотел еще что-то добавить, но он прервал меня:

— Есть факты и фактики, а есть политика партии и правительства. Или она для вас не существует, товарищ Перельман? — неожиданно вспомнил он мою фамилию.

На этом беседа закончилась. И аудиенция тоже. Все теперь зависело, какую позицию займет Виктор Васильевич Гришин.

Я часто наблюдал, как строг был Гришин к недостаткам в профсоюзной работе. Вряд ли ему придутся по душе порядки, царящие в Рустави. Да и чтобы там ни говорили, а ведь защищать человека — это главное дело профсоюзов.

Так или примерно так пытался я себя успокоить. Но дело тянулось уже полгода, а развязка все не наступала. На этот раз я переживал вместе с женой. Так получилось, что женился я в разгар событий и именно в день свадьбы из Тбилиси позвонил наш сотрудник, находившийся там в командировке и "порадовал" меня вестью о только что принятом решении ЦК партии Грузии.

— Даже здесь у тебя все не как у людей, — успела шепнуть мне мать, пока я говорил по телефону. — Исключат из партии, тогда будешь знать.

— Жених где? Жениха нет!— кричали из комнаты гости.

А я, глядя на это счастливое застолье и на свою будущую жену, не подозревавшую еще, что за "счастье" ей привалило, ругал себя последними словами за то, что ухитрился испортить такой день.

Из партии меня не исключили. С работы не сняли и даже не объявили выговора. Помогло стечение обстоятельств и еще, пожалуй, незыблемые законы аппаратной жизни. Что касается моих упований на председателя ВЦСПС, то вот как все было.

Грузинское дело решили обсуждать вместе с отчетом Блинова на президиуме ВЦСПС.

Новый редактор отчитывался впервые, он вышел на трибуну и, неуверенно переступая с ноги на ногу, сказал, что в такой ответственной аудитории он никогда не выступал и, если что будет нескладно, то он просит членов президиума и Виктора Васильевича не взыскать.

Члены президиума, как всегда, сидели за столом на сцене. Считалось, что каждое такое заседание — это школа для аппарата.

Виктор Васильевич сидел в центре, и, хотя слова Андрея Дмитриевича были встречены в зале одобрительными улыбками, на лице председателя не шевельнулся ни один мускул. Между тем Блинов подчеркнул, что свое важнейшее назначение журнал видит в активной пропаганде опыта профсоюзных организаций, рассказал о сделанном и закончил тем, что в работе журнала есть и недостатки. Об этом, в частности, свидетельствует руставская статья товарища Перельмана.

После Блинова слово взял зав культмассовым отделом Сиснев и вспомнил, как в свое время он предупреждал редакцию, что с руставской статьей выступать не надо.

— Мне, Виктор Васильевич, партийное чутье и подсказало, что мы идем не туда с этой статьей, — неожиданно повернулся он к Гришину.

Председатель откашлялся и, никак не выразив своего отношения к услышанному, предоставив слово еще нескольким ораторам, наконец поднялся сам. Положив

руки в карманы пиджака и чуть опустив голову — это была его любимая поза, — он не спеша прошелся вдоль сцены и, откашлявшись еще раз, начал негромким, глухим голосом. Но начал не с журнала, а с крупных задач, которые предстоит решать профессиональным союзам.

— В свете этих задач, — говорил Виктор Васильевич, — мы и должны рассматривать работу журнала ВЦСПС. Из дальнейшего следовало, что, с точки зрения председателя, журнал еще не нашел своего места в общенародной борьбе за семилетку и — что самое тревожное — позволяет себе печатать не только неправильные статьи — я абсолютно не согласен с вами, товарищ Блинов, вы, очевидно, плохо поняли, о чем речь. Речь о политически вредном выступлении, направленном против основы основ социалистического общества. По-видимому, редакция и автор статьи товарищ Перельман не отдают себе отчета в том, что значит дружба народов в современных условиях, а может быть, она им и не дорога — это еще надо посмотреть, товарищи.

Я уже понял, какую защиту получу от председателя ВЦСПС, а также понял, что отчет Блинова и все последующие выступления — это лишь увертюра к речи Виктора Васильевича Гришина.

Из зала я вышел совершенно разбитый. Гришин говорил около часа, но если бы меня попросили хотя бы примерно повторить сказанное, то я бы вряд ли мог это сделать.

Единственное, что мне запомнилось, — это как председатель возмущался темой статьи. Неужели нашему журналу не о чем писать?

Неужели мало насущных проблем выдвигает соревнование? Неужели утратили свое значение ленинские принципы гласности, состязательности, сравнимости результатов? Или нас уже не волнует состояние обществен-

ного контроля на предприятии и работа постоянно действующих производственных совещаний?

Кажется, это было единственное место, где я едва сдержал улыбку. Круг замкнулся. Откуда ушел, туда и пришел: все к той же призрачной "aqua pura", возведенной на недосягаемый пьедестал теперь уже самим председателем ВЦСПС.

Вопрос о персональной ответственности автора статьи был передан на рассмотрение секретариата ВЦСПС и возможно меня бы снова уволили, если бы не одно случайное совпадение.

Накануне выхода статьи тот же секретариат ВЦСПС утвердил меня в должности редактора отдела экономики.

Представляла меня сама секретарь ВЦСПС Татьяна Николаевна Николаева. Снимать меня после этого с работы значило расписаться в неумении подбирать кадры. А это было уже слишком. Поэтому мое персональное дело было спущено на тормозах. Секретариат ВЦСПС поручил его рассмотреть партийному собранию редакции. Собрание мне строго указало на допущенную ошибку.

Так что в письме в ЦК КПСС Татьяна Николаевна могла сообщить, что автор статьи "Люди с каменным сердцем"привлечен к партийной ответственности.В общем,все кончилось благополучно. И жена, уже начавшая понимать, что за счастье к ней приплыло, чувствовала себя на седьмом небе. Стоял великолепный июль, и она строила планы, где и как мы проведем свой отпуск.

Наутро после собрания позвонила мать. Она, как всегда, была в курсе моих дел и считала своим долгом подвести итог грузинской истории.

— Так, значит, никакого взыскания? — шумно выражала она восторг в трубку. — И знаешь, что я тебе скажу, Блинов все-таки порядочный человек. Другой мог пря-

мо утопить тебя. И Николаева тоже хорошо себя показала, правда?

— И Виктор Васильевич, — иронизировал я.

— А что, и Виктор Васильевич? Ну, знаешь, — у тебя с твоим характером все плохие. Всегда хочешь быть умнее всех, а оказываешься в дураках. Тебе уже 36-й год.

Я свернул разговор и положил трубку. Надо было прыгать от радости, а я ничего не ощущал, кроме усталости и безразличия.

"В чем-то, — думал я, — мать действительно права". То защищал еврея Великовского от русской Ивановой, то защищал русскую Харченко от грузина Шенгелая и в обоих случаях оказывался "дураком". Наше государство явно не нуждалось в таких еврейских правдоискателях. Казалось бы, я все это понимал. Оставалось только сделать выводы, и я начинал уже их делать.

Но так же, как у Менахем-Мендла, всякий раз появлялось что-то такое, что заражало меня новой идеей и мешало "вернуться в тихую и благополучную Касриловку". И когда летом 67 года я отправился на рыболовецком судне в Северную Атлантику, то, очевидно, переживал нечто близкое тому, что ощущал Менахем-Мендл, перебираясь из Одессы в окрыливший его надеждами Егупец.

Менахем-Мендл писал из Егупца восторженные письма своей дорогой и благочестивой супруге Шейне-Шейндл, а я слал радиограммы своей жене и дочери из Северной Атлантики: "Идем мимо Норд-Капа. Вышли в Северное море, шторм восемь баллов, подходим к острову Ньюфаундленд. Взяли курс на Банку Джорджес к берегам Америки".

Вопрос о моем плавании решался на секретариате ЦК КПСС, и секретариат вынес довольно странное

решение. Мне разрешался выход в море, но без захода в иностранные порты.

Уже в море я узнал, что на языке спецотделов это называется "виза № 2", и рыбакам, отправляющимся на промысел, ее обычно оформляют портовые кадровики в течение двух-трех дней. Но в море я не хотел ни о чем вспоминать. Часами я мог стоять, припав лбом к иллюминатору, и наблюдать за темной бушующей стихией. "Люди бывают трех родов, — писал Анахарсис, — те, кто жив, те, кто мертв, и те, кто плавает в море". Мне казалось, что в море я увижу то, что никогда не смог бы увидеть на берегу.

На маленьком СРТ-118 "Стриж" мы подходили почти к самому Нью-Йорку, промышляя всего в 17 милях от порта. Ночью я видел диатомовое цветение водорослей и в туманной дымке зарево огней Манхэттена.На Флемиш-капе и большой ньюфаундлендской банке работал вместе с матросами в трюме. Мы перегружали на плавбазы двухпудовые ящики мерлузы и хека. Был в заливе Мен, на Браун Банке и даже в широтах, где промышлял меч-рыбу хемингуэевский старик — саляо.

Но чем больше я находился в море, тем сильнее было ощущение, что берег цепко держит меня в руках. Это звучит парадоксально, но именно в море я вдруг по-настоящему увидел берег. Нет, не оттого, что отдалился от суеты буден, как любят утверждать юные романисты, а оттого, что вся береговая жизнь с ее нелепыми законами была теперь перед глазами, на маленьком пятачке судна.

Возможно, не имей я позади Юридического института, 56 года, дела Великовского, не будь я много раз унижен этой жестокой и нелепой жизнью на берегу, меня мог бы ослепить ночной фитопланктон и дивные закаты на Банке Джорджес. И тогда, возможно, я не увидел бы этого суетного пятачка, этого оторвавшегося куска

суши. Но позади была целая жизнь, научившая меня кое в чем разбираться, и на судне еще зримее, чем на берегу, предстало то, от чего я жаждал вырваться.

Позже жена говорила, что из плавания я вернулся больной и некоммуникабельный. К этому требуется уточнение: я вернулся с четырьмя общими тетрадями своих океанических дневников. Дома я, вероятно, был действительно невыносимым.

"Ничем не интересуешься, кроме своих бумажек, — говорила жена. — Как так можно жить?" А я сидел за столом и лихорадочно писал. Я чувствовал себя переполненным резервуаром, не могущим существовать, не отдавая внешнему миру содержимого.

Я писал по вечерам и воскресеньям, вместо того чтобы уходить с семьей на лыжах, писал весь отпуск, уехав на полтора месяца в Дом творчества журналистов. Писал даже в рабочее время, забросив дела в отделе и вызывая недовольство редактора.

Не только домашние, но и некоторые из друзей говорили, что, вернувшись из плавания, я немного тронулся. Но если в моем поведении и было что-то, лишенное здравого смысла, то совсем не то, в чем меня обвиняли.

Шизофренической была беззаботность, проявляемая мной в отношении будущей рукописи, увидит она свет или не увидит — меня это совершенно не занимало. И только когда я кончил и перечитал написанное, то понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах моя книга не будет издана.

И не потому, что она очерняла действительность, как позже мне писали из редакций, а потому что она показывала ее такой, как она есть. А надо было кое-что добавить, кое-что из области, где я еще недавно себя чувствовал как рыба в воде.

...И СНОВА ИЛЛЮЗИИ

Весной 1968 года в моей жизни свершилось чудо. Из малоизвестного ведомственного журнала "Советские профсоюзы" я перешел в "Литературную газету" на должность заведующего отделом информации. Казалось, сама судьба решила воздать мне должное и за годы, проведенные в стенах одного из самых скучных и непопулярных изданий, одарила меня работой, о которой мог мечтать любой из моих московских коллег.

К тому времени я уже разуверился, что в России может наступить свобода и научился мечтать применительно к реальной жизни. Но и в мечтах я не мог отказаться от того, что считал в своей жизни главным, — от работы творческой, требующей полной самоотдачи и единственно способной принести удовлетворение. Если не творчество, а только ремесло или, скажем, только деньги, то ради чего тогда писать? Отчего, например, не переквалифицироваться в снабженца или директора магазина? По крайней мере, честнее.

В "Литературную газету" я перешел за один день. Без отдела кадров, без проверки и даже без заполнения анкеты с ее неизменным "пятым пунктом". И это тоже выглядело как чудо. Утром, с трудом пробравшись сквозь ряды машин, стоявших у парадного "Литгазеты", я с едва теплившейся надеждой вошел в большой и шумный вестибюль. Вечером я выходил на улицу руководителем ведущего отдела самого популярного издания в стране. Вот уже более года эта газета издавалась на 16 полосах и завоевала симпатии сотен тысяч читателей. По средам, в день ее выхода, многие из них уже с утра караулили "Литературку" у газетных киосков. Казалось, для нее не было запретных тем. И честно говоря, от од-

ной мысли, что и я могу попасть в этот мир, у меня захватывало дух.

Заведующим отделом информации я стал по конкурсу. Для каждого, кто знаком с жизнью советских газет, это звучит фантастически. Но о "Литгазете" тех дней ходило много легенд. Говорили, например, что первый зам главного редактора Сырокомский устраивает планерки в лесу, подле своей дачи в Переделкино. Пекут на костре картошку и предлагают новые темы. Говорили, что первый зам, в прошлом помощник секретаря Московского горкома партии Егорычева, получил от ЦК карт-бланш — принимать в газету любого, кого посчитает нужным. И даже евреев. И в том же кафе Московского дома журналиста, где все это обсуждалось и комментировалось, я узнал, что "Литературка" срочно ищет заведующего отделом информации. За полгода сменилось двое или трое заведующих, и сейчас Сырокомский будто объявил, что возьмет того, у кого в голове будут стоящие идеи.

Так вот, в один из тех дней я и решился заявиться к Сырокомскому. Плотный, короткорукий, он молча и испытующе смотрел на меня из-под линз очков, пока я рассказывал ему, кто я. А когда кончил, он возмущенно, точно я оскорбил в нем самое святое, пожал плечами:

— Но какое вы имеете отношение к литературе? Что вас связывает с писательскими кругами? Да вы знаете, что ставите на карту жизнь? Представляете, если провалитесь? Какая у вас зарплата? 260? Лишитесь всего. А в том, что провалитесь, я уверен на девяносто девять процентов.

Я сидел, уставившись в одну точку, и чувствовал, как ладони становятся влажными.

— Ну, вот что, у нас демократия. Принесите ваши соображения, каким вы видите отдел информации. У меня уже тут лежит пачка макулатуры...

Прочитав на другой день мой проспект (этот другой день и стал для меня решающим), Сырокомский снова все так же зло посмотрел на меня и тем же прощупывающим меня голосом сказал:

— Сто восемьдесят!

— Что сто восемьдесят? — не понял я.

— Сто восемьдесят вместо двухсот шестидесяти!

— Согласен, — сказал я.

Через час меня принял главный редактор Александр Борисович Чаковский. Он сидел в громадном своем кабинете с сигарой в зубах, и, когда мы с Сырокомским вошли, быстро приподнялся над письменным столом, и широко, будто я своим приходом доставил ему ни с чем не сравнимое удовольствие, улыбнулся. И в течение всего разговора не переставал дымить сигарой и улыбаться. Держался совершенно свободно, острил, словно специально задался целью покорить меня своей широтой и обаянием.

Пройдет неделя-другая, и я буду иметь "счастье" едва ли не каждый день встречаться с Чаковским. Тогда мы, разумеется, лучше узнаем друг друга. Я еще не раз буду возвращаться к этой любопытной и безусловно не тривиальной фигуре, пользующейся огромным авторитетом в глазах руководителей ЦК КПСС. Но тогда, захваченный событиями, я не был расположен утруждать себя мыслями о том, что скрывается за этой нервно улыбающейся маской с сигарой в зубах.

— Мне говорили, что вы сознательно пошли на понижение зарплаты, — начал Чаковский, — это, как говорится, факт, который не может нас не радовать. Он свидетельствует о вашем глубоком интересе к газете...

Чаковский говорил низким, шепелявящим басом, и на его лице, подобно нервному тику, то и дело появлялась гримаса. Оно словно бы ощеривалось, но благодаря сигаре тотчас же снова обретало вполне интеллигентный, респектабельный облик.

— Ну, что я могу добавить — в добрый путь! Хотелось бы только, чтобы вы имели в виду, что литературная политика — дело чрезвычайно тонкое и щепетильное. Тут, как говорится, десять раз отмерь и один раз отрежь. И мерить надо точно, чуть не туда — и не оберешься, как говорится, на свою голову.

Больше,кажется,я ничего не услышал. Да и занимал меня не столько смысл сказанного им,сколько тот факт, что, вчера еще безвестный профсоюзный журналист, я вышел на переднюю линию литературы и журналистики. И теперь на равных беседовал с Александром Чаковским, сувереном советской идеологии, как его называли некоторые газеты на Западе, человеком, близким к Брежневу и Суслову.

Удивительна все-таки наша способность глядеть на мир и всякий раз в нем видеть то, что тебе хочется видеть, а вовсе не то, что существует на самом деле. В день моей первой встречи с Чаковским я уже много слышал, что представляет собой эта фигура. Но теперь попросту не хотелось об этом думать. Кое-что сомнительное появлялось и на страницах "Литгазеты", но я и это не хотел замечать.

И видел ее такой, какой хотел видеть. И, выйдя из кабинета Чаковского, я, как никогда ранее, вдруг почувствовал себя личностью, способной свободно решать свою судьбу. Да, я еврей, с типичной еврейской фамилией и в общем еврейской судьбой. Но если чувствуешь свое "я", если веришь в свою личность, то разве еврейство способно помешать тебе?

С тех пор прошло немало времени, и теперь у меня все чаще появляется потребность объяснить себе и другим противоречия моей жизни. Мне кажется, что эти противоречия в самой природе человеческой личности. Не случайно Л. Толстой всегда видел в человеке глубинное и поверхностное "я" и изображал двойную жизнь человека. С одной стороны, жизнь внешнюю, неподлинную, исполненную лжи и мишуры, и другую жизнь – внутреннюю, подлинную, в которой человек стоит перед первореальностями, перед глубиной жизни.

Придя в "Литературную газету", поднявшись на вершину своей журналистской карьеры, я на самом деле еще дальше шагнул в ту иллюзорную, исполненную лжи жизнь, когда человеку лишь кажется, что он обретает свободу. На самом же деле он находится в рабстве, хотя часто не замечает своего рабства, а иногда даже любит его. Понадобились годы. Потребовалось постигнуть всю условность этой внешней жизни, чтобы, в конце концов, все же прийти к первореальностям. Важнейшей из них явилась моя национальная свобода и самосознание.

И вспоминается мне уже другой весенний вечер семьдесят второго года, когда я так же, как тогда, выходил из "Литературной газеты". Все было так же – шум вечерних улиц, скопление машин у входа в редакцию, и так же над массивным шестиэтажным домом на Цветном бульваре, 30 горела неоновая реклама.

В этот вечер за свое желание уехать в Израиль я был уволен с работы, исключен из партии, объявлен сионистом и антисоветчиком. И так же, как тогда я в один день все обрел, теперь я в один день все потерял, все, что у меня было, – положение, имя, карьеру. О, это была не радость, а, скорее, горечь свободы; в тот вечер, когда меня изничтожали мои же товарищи, я вдруг

понял, что оставаться в рабстве было легче, что свобода — это трудная вещь, но она — то единственное, ради чего стоит жить.

САМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

Почти четыре года проработал я в "Литературной газете", но, сколько ни пытаюсь хотя бы приблизительно определить момент своего внутреннего перелома, мне не удается это сделать. Вероятно, оттого, что такого момента в общепринятом временном понимании вообще не существовало. Все происходило исподволь — я приходил в редакцию, писал статьи и репортажи, участвовал в заседаниях редколлегий и планерках — так шла жизнь. И только теперь, препарируя эти будничные факты, я начинаю вспоминать детали и события, которые по-своему оставляли во мне след уже в первые дни моей работы в газете.

В чем-то эти дни были незабываемо прекрасны. Утром я с радостью просыпался и с радостью ждал каждого нового дня, потому что во мне жила надежда, точнее много надежд и много иллюзий.

Отдел информации, куда в первый день меня привел ответственный секретарь газеты Горбунов, был расположен на четвертом этаже. Он занимал огромную длинную комнату, но в день моего прихода эта, подобная залу, уставленная столами комната пустовала. Бывший заведующий отделом Гурвич-Ишимов был болен, одна из сотрудниц уже полгода находилась в декретном отпуске, всех прочих я должен был набрать сам — словом, эта пустая комната в моих глазах была подобна чистому

листу бумаги. Все возможно, и все открыто. Я мог принимать, кого угодно, и писать, о чем угодно. Лишь бы это было свежо и интересно. Так, по крайней мере, сказал первый зам главного редактора Сырокомский, когда брал меня на работу.

И вот я сижу в огромной пустой комнате отдела информации. Широкие окна выходят на Садовое кольцо — этот самый центр Москвы. Город грохочет, гудит. Но я не слышу этого грохота. Меня вообще на свете ничто не занимает. Я думаю над новой информационной полосой. Какую придумать шапку, чтобы было броско и интересно. Может быть, взять Маяковского: "Из реки по имени "факт"?

Напротив отдела информации — кабинеты Чаковского и Сырокомского. Чуть правее сидят два других зама — Тертерян и Кривицкий, и я без конца слышу голоса секретарш, вызывающих сотрудников к начальству: того-то к Сыру, того-то — к Теру, а этого уже четыре раза спрашивал Чак.

Даже во сне невозможно было представить, чтобы главного редактора "Правды" Зимянина сотрудники называли каким-нибудь "Зимом", а главного редактора "Известий" Толкунова — Толкуном. Это возможно было только в "Литературной газете", где я вдруг оказался в атмосфере, незнакомой ни одной из московских редакций.

В отсутствие Чаковского, который по полгода сидит на даче и пишет свою многотомную "Блокаду", всеми делами управляет Сырокомский. Он берет на работу, увольняет, председательствует на планерках и редколлегиях.

Тер ведет раздел внутренней жизни в газете. Он самый старый из всех замов, маленький, с седым бобриком волос. Говорят, что он и самый умный из всех замов,

сумел пережить четырех главных редакторов, заплатив, впрочем, за это двумя или тремя инфарктами. Тер — остряк и циник, его замечания мгновенно превращаются в афоризмы и еще долго гуляют по редакции. Все они почти об одном и том же — какая драматическая участь постигнет любого из сотрудников, кто утратит осторожность и здравый смысл:

— Мой молодой друг, — произнес он однажды целый монолог перед одним из сотрудников, — если вы напечатаете эту вещицу, то вам останется жить ровно столько, сколько потребуется машинистке, чтобы напечатать приказ о вашем увольнении!

Другой зам, Евгений Алексеевич Кривицкий, начисто лишен чувства юмора. Он — тугодум и, прежде чем сказать свое мнение о материале, долго сидит, уставившись в него неподвижным взглядом. Седой, голубоглазый, с юношеским почти лицом, он даже внешне — полная противоположность Теру, чем-то похожему на пучеглазого лягушонка.

В прошлом Евгений Алексеевич был редактором Волгоградской областной газеты, затем сотрудником отдела пропаганды ЦК КПСС и наконец замом Чаковского по литературе.

Самое удивительное качество Кривицкого было непревзойденное умение молчать. Молчать, когда с ним спорят сотрудники (делая, однако, все по-своему). Молчать, когда его изничтожает Чаковский. Впрочем, на официальных совещаниях Александр Борисович обычно знал меру и, улыбаясь, даже обращался за советами к Кривицкому:

— Ну, а что скажет Евгений Алексеевич? Он, как говорится, у нас комиссар.

Мой непосредственный начальник — ответственный секретарь газеты Валерий Аркадьевич Горбунов, в газете

его зовут просто Валерий. Злые языки мне в первые же дни поведали, что никакой он не Горбунов, а Гиндельман, принявший фамилию жены и обретший благодаря этому возможность занять вполне респектабельную должность ответственного секретаря "Литературной газеты" и позже стать главным автором материалов о сидящих в Вене возвращенцах из Израиля и главным обличителем "земли обетованной", как он любил называть в своих репортажах Израиль.

Под Горбуновым и его замами находились отделы "Литературки", добрую половину которых возглавляли евреи. Это был один из самых загадочных феноменов, поразивших мое воображение, когда я пришел в "Литературную газету". В "Правде", "Труде", "Сельской жизни" да почти во всех центральных газетах евреев можно было сосчитать по пальцам.

В "Литгазете" евреем был главный редактор Чаковский и ответственный секретарь Гиндельман, отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значит этот загадочный филосемитизм?

Я хотел верить в лучшее, и, если в редакции случалось что-то такое, что не соответствовало моим представлениям о "Литературке", я тут же пытался найти этому объяснение. То, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все.

В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ"

Я размышлял, как перестроить отдел информации. О чем ему писать? Что должно стать для него главным? И я сам себе отвечал: "Главное – это, разумеется, писатель, но не чиновник от литературы, не функционер Союза писателей, а писатель как творческая личность, созидающая духовные ценности.

В первой полосе я решил рассказать о творческой лаборатории Семена Кирсанова, о Михаиле Светлове и Викторе Борисовиче Шкловском. И тотчас послал к Кирсанову и Шкловскому корреспондентов. К последнему поехал Давид Маркиш, он хорошо знал Шкловского и буквально на следующий день принес интересное интервью. Затем пришел репортаж о Кирсанове, его я сам доделывал и переписывал.

Почти каждый день я сидел до полуночи, правил, выдумывал заголовки и рубрики и меньше всего ожидал разговора, на который вызвал меня Сырокомский. Вначале я даже не понял, о чем речь. Он смотрел на меня все тем же прощупывающим взглядом из-под линз очков и неожиданно сказал:

– Виктор Борисович, вы коммунист и, я надеюсь, правильно поймете то, что я вам сейчас скажу. Так вот, возьмите лист бумаги и запишите фамилии писателей, чьи произведения не рекомендовано упоминать: Солженицын, Владимов, Антокольский, Сарнов, Войнович, Аксенов, Копелев, Ахмадуллина, Конецкий...

И, перечислив фамилий тридцать, Сырокомский добавил:

– Вы, разумеется, понимаете, что это никакой не "черный список", как пытается трубить западная пропаганда. Просто эти лица подписывали письма в защиту

Гинзбурга и Галанскова, и компетентные органы решили временно их не упоминать. Это первое. И второе. Как у вас дела с подбором людей? Вы заведующий отделом и, естественно, можете брать кого хотите, но у меня к вам просьба. Берите, кого хотите, — русских, азербайджанцев, киргизов, чукчей, эвенков. Но это должны быть люди коренных национальностей. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Мы не можем превращать редакцию в рассадник антисемитизма.

Это был, кажется, первый разговор, который меня неприятно резанул, но я вспомнил последние слова Сырокомского, что редакцию нельзя превращать в рассадник антисемитизма, и подумал, что он в чем-то прав. Что касается "черного списка", то ведь сам Сырокомский сказал, что это временно. К тому же, слава Богу, в этом списке не было ни Кирсанова, ни Светлова, ни Шкловского. Не откладывая в долгий ящик, я решил тотчас же отправиться к Кривицкому и выяснить судьбу первых моих материалов, которые уже несколько дней лежали у заместителя главного редактора. Когда я вошел и спросил, как дела с Кирсановым, он ничего не ответил. Сидел молча, уставившись в мой материал, будто пытался отыскать в нем нечто такое, чего в нем не было и не могло быть.

Это молчание продолжалось несколько минут, после чего Кривицкий, тщательно подбирая слова, сказал:

— Понимаете, Виктор Борисович, это сделано очень примитивно. Процесс писательского творения необыкновенно сложен. Ну, а что Семен Кирсанов? Сидит, смотрит в окно своего дома и пишет стихи. Упрощенно все это...

Я пытался возражать, и снова последовало долгое молчание, пока в кабинет к нему не зашел заместитель ответственного секретаря Чернецкий.

Леня Чернецкий был одной из самых колоритнейших фигур в редакции. Низенький, горбун и, несмотря на это, страстный обожатель женщин... Говорили, что он когда-то подавал большие надежды и даже окончил Литературный институт, но, в отличие от многих своих сверстников, так и не стал писателем, застряв в секретариате "Литературной газеты" и так же, как Тер, пережив многих ее редакторов.

Увидев Чернецкого, Евгений Алексеевич необыкновенно обрадовался, его каменное лицо оживилось:

— Леонид Герасимович, вот вы-то нам как раз и нужны. Вы читали репортаж о Кирсанове.

— Читал, Евгений Алексеевич.

— Ну, и что скажете?

— Откровенно? — улыбнулся Чернецкий.

— Разумеется, откровенно, — улыбнулся в ответ вдруг оживившийся Кривицкий.

— Если откровенно, материал мне не понравился. Город вдохновляет писателя. Экая невидаль. Сплошные трюизмы.

— Вот видите, Виктор Борисович, мы ведь с Леонидом Герасимовичем не сговаривались.

— Ну, а как Шкловский? — решил я уже испить чашу до конца.

— Что Шкловский? Шкловский — отличный писатель, — продолжал улыбаться Чернецкий, ища ответной улыбки у заместителя главного редактора. — Только почему о Шкловском должен писать Маркиш, что у нас нет других журналистов?

— Дело тут не в Маркише, — прервал его Кривицкий,— дело в линии, которую должен избрать новый отдел информации. Можно, конечно, все материалы делать о Кирсанове, Шкловском, Светлове. Но где будет у нас с вами литературная жизнь страны, встречи с читателями?

Где, наконец, современные авторы? Возьмите Георгия Мокеевича Маркова, или Кожевникова, или, наконец, Франца Таурина, да сколько у нас интересных писателей!

— Почему-то совершенно не хотим давать Грибачева, Первенцева, Бабаевского! — воспламенился вдруг Чернецкий.

— В общем, так, Леонид Герасимович, — примирительно закончил Кривицкий. — Прошу вас взять шефство над отделом информации. Помогите Виктору Борисовичу правильно подобрать писателей и авторов...

ДЕБЮТ

Чернецкий пригласил меня в свой небольшой кабинет — такие кабинеты в газете были почти у всех, и над каждым висела табличка с фамилией, именем, отчеством. В этом своем кабинете Чернецкий выглядел уже совсем не так, как у Кривицкого. Он сидел, барственно развалившись в кресле, и даже горб в этой его позе не так выделялся.

— Ну что, мой друг, довольно витать в небесах. Пора браться за дело. Какая у вас рубрика ко всей полосе?

— Маяковский: "Из реки по имени "факт".

— Бросьте, мой друг, все эти горы и реки. Все гениальное просто. Почему бы не назвать полосу так: "Литературная жизнь страны"? Понятно каждому читателю, и учитывается мнение редактората. Кстати, вы слышали, что группа писателей едет на теплоходе в Горький? Будут встречаться с рабочим классом... По-моему, прекрасная и очень нужная тема. Пошлите Галю Долматовскую.

Галя Долматовская, дочь поэта Долматовского и приемная дочь секретаря Союза кинематографистов Караганова, была первой из сотрудниц, пришедших в новый отдел. Перед тем как она появилась, меня вызвал Горбунов-Гиндельман и сказал:

— Я хотел тебя предупредить об одной неприятной штуке. Дело в том, что к тебе переводят Долматовскую. Она перебывала у нас во всех отделах и не могла нигде ужиться — страшная лентяйка и интриганка. Советую не брать. Разумеется, это между нами, я ничего тебе не говорил, и ты ничего не знаешь.

Но не брать Долматовскую я уже не мог. Когда через час я встретил ее у Сыра, все было предрешено. Она сидела, закинув нога на ногу, и, дымя в лицо Сыру длинной сигаретой, скандалила, заявляя, что никогда в жизни не будет работать в информации, поскольку является профессиональным кинокритиком. На всю эту истерическую шрапнель слов Сыр коротко ответил:

— Будете! Других мест у меня для вас нет!

Когда она вышла, он попросил меня на несколько секунд задержаться и сказал:

— Все знаю, но другого выхода нет, советую вам ее использовать на сто процентов. Нет, не в этом смысле,— вдруг расхохотался он, — в этом смысле там ничего нет, мне ребята говорили. Но у нее хорошие связи с писателями, понимаете, она хорошая добытчица.

— Говорят, с ней невозможно работать, — пытался возразить я.

— Говорят, что кур доят, — окинул меня хмурым взглядом Сырокомский. — Будет бездельничать — выкинем.

Всех писателей Долматовская называла только по имени. Маргариту Алигер — тетей Ритой, Василя Быкова — Васькой, Вознесенского — Андрюшей, Семена Шуртако-

ва — Семкой. Из Горького она вернулась полная впечатлений и долго, с множеством сочных деталей живописала мне, кто напился в первый вечер, а кто не просыхал до самого конца. Она так живо и долго рассказывала, что я, грешным делом, стал надеяться, что и в материале появится хоть какая-то божья искра. Но была это обычная казенная статья, пустая и напыщенная, где через каждую строку говорилось о святом долге писателя крепить связи с рабочим классом, и вся поездка на теплоходе, где одни напились в первый день, а другие не просыхали до конца, должна была иллюстрировать плодотворность этих писательских связей с народом. Все, кто побывал на Горьковском ГАЗе и "Красном Сормове", теперь были полны творческих планов и задумок.

Так появился первый репортаж на моей новой полосе, о которой я столько мечтал. Затем откуда-то сверху пришло интервью с драматургом Афанасием Салынским, который долго говорил о своих творческих командировках, показывая, как они помогают ему создавать все лучшее, что идет из его вещей на московских сценах. На подверстку шел материал Наума Мара — репортера № 1. Он писал о грандиозной встрече писателей с моряками-черноморцами. И все это шло под бледно-голубой шапкой "Литературная жизнь страны".

Удрученный, я сидел за своим столом у окна и, перечитывая материал за материалом, не находил ничего, что бы могло задеть читателя. Напротив, забросив нога на ногу, Галя битый час болтала по телефону с каким-то Женечкой, кажется, это был Евтушенко. Неожиданно дверь отворилась и появилась короткопалая фигура Сырокомского. Лицо его сияло:

— Хочу поздравить отдел информации. Только что звонил секретарь Союза писателей Марков и похвалил

полосу "Литературная жизнь страны" Советую так держать курс и дальше.

В буфете на шестом этаже все меня поздравляли с удачным стартом. Подошел Толя Рубинов, любимец Сырокомского, и сказал, что Сыр обо мне очень высокого мнения. На очередной летучке в четверг полоса была отмечена в числе лучших материалов.

И лишь сам я испытывал чувство двойственное. С одной стороны, радовался, что отдел мой признали и, следовательно, признали меня; с другой стороны — не совсем понимал за что. Кое-что после летучки разъяснил мне писатель Евгений Сазонов из "Клуба 12 стульев" Сазонов был псевдоним, под которым печатался недавно перешедший из "Комсомолки" литсотрудник отдела юмора Резников. Внешне он был вылитая копия Швейка. Говорил заикаясь и любого из собеседников называл не иначе, как "товарищ"

— Поз-ддравляю, товарищ, — широко улыбаясь, подошел он ко мне после летучки. — Интересуетесь, за что вас признали? А сами не догадываетесь, товарищ? Налицо правильный подбор кадров, образцы которого нам показал наш старший товарищ Виталий Александрович Сырокомский.

Из объяснения Резникова я понял, что решающую роль в моем успехе сыграл отнюдь не мой организаторский талант, о котором говорили на летучке, а просто случай. Не далее, как за месяц до моего прихода, райком партии развернул кампанию против процветающей в районе текучести кадров. В доклад секретаря райкома попала и "Литературка", которая меняла уже третьего заведующего отделом информации.

— Теперь, нннадеюсь, вам ясно, что вы и есть тот незаменимый товарищ, который нам нужен сейчас больше всего.

Но Сазонов был прав только частично, ибо в том, что новый отдел завоевал признание руководства, были и мои личные заслуги. С первых же дней я проявил "партийную зрелость", гибкость, не спорил с руководством, когда оно высказывало вполне здравые идеи о необходимости крепить связь писателей с жизнью. Руководство, разумеется, не могло подозревать, что тот, каким я предстал с первых дней, был совсем не я, а мой двойник, облик которого нередко заставляла меня принимать жизнь.

Но тот настоящий "я", тот вечно бунтующий Менахем-Мендл, который сидел во мне с рождения, обычно долго не выдерживал. Я много раз замечал в себе эту "странность" — что бунтовать я начинал не тогда, когда мне было плохо, а когда по всем нормам жизни я чего-то достигал и мог вполне почивать на лаврах.

Так было и в "Литературке". Получив признание и завоевав прочное место, я очень скоро после прихода в газету предложил создать новый отдел — "Литературный репортер".

Теперь даже внешне все выглядело иначе. Вместо серой и ни о чем не говорящей шапки "Литературная жизнь страны" в центре полосы появились две огромные буквы — "ЛР" — "Литературный репортер", так сказать, персонифицированный отдел информации, взявший на себя миссию рассказывать о писательском творчестве. "ЛР" — в гостях у писателя", "ЛР" ведет репортаж", "ЛР" берет интервью"...

После выхода полосы сияющий Сазонов встретил меня в коридоре и радостно пожал руку:

— Поздравляю от всей души, товарищ, теперь, кажется, что-то есть.

Мой непосредственный куратор Чернецкий предпочел дипломатически отмолчаться. Тогда я спросил:

— Ну, как?

Он, важно прижавшись горбом к спинке кресла, таинственно улыбнулся и сказал:

— Все суета сует, поживем — увидим.

Маленький Тер, встретив меня в коридоре, прошамкал губами и затем заметил:

— Ну как, мой молодой друг, дерзаем? Читал, читал... А Чаковский, кстати, видел?

Зам по литературе Евгений Алексеевич Кривицкий по обыкновению долго молчал, уставившись в полосу, словно решая сложнейшую математическую задачу, и наконец произнес:

— Честно говоря, этот ваш "ЛР" не вызывает у меня особого восхищения. То ли дело — "Литературная жизнь страны", — вдруг просветленно улыбнулся Евгений Алексеевич, — все ясно, главное ясно, чего хотим.

Я спорил с Кривицким, спорил со всеми, кто противился моей идее. И, как всегда, моя бескомпромиссность не знала границ. Если я до полуночи сидел в редакции, то был уверен, что и каждый в моем отделе должен сидеть до полуночи. Когда Сыр мне говорил — можете брать и увольнять, кого сочтете нужным, то я и это принимал за чистую монету.

В свои тридцать девять лет я в чем-то сохранил легковерие ребенка и довольно скоро начал за это расплачиваться.

Началось с Долматовской, которая и на самом деле оказалась редкой бездельницей и интриганкой. С утра она приходила в отдел, оставляла на столе сумку и исчезала до вечера. Но когда я пошел к Сыру, чтобы он убрал ее (как мне было обещано), он вместо этого послал меня к секретарю парторганизации Олегу Нико-

лаевичу Прудкову. Прудков, занимающий должность редактора иностранного отдела, встретил меня необыкновенно радушно, долго расспрашивал, как идут у меня дела, а когда я перешел к вопросу о Долматовской, то на его красивом, холеном лице появилась понимающая улыбка:

— Я с вами абсолютно согласен, Виктор Борисович, — сказал он слегка грассируя, — но ведь она еще очень молодая. Сколько ей лет? Уволить человека недолго, надо помочь ему. Так ведь, если мы хотим с вами придерживаться ленинских принципов работы с людьми?

— Но при чем тут ленинские принципы, если она бездельница?

Лишь на какое-то мгновение на лице его появилась тень недовольства, и тотчас оно обрело прежний, исполненный обаяния облик. Он нежно мне улыбнулся и сказал, что берется поговорить с Долматовской сам и что, как секретарь партийной организации, он просто иначе поступить не может.

Выслушивая этот монолог, я менее всего подозревал, в каких отношениях с Долматовской находится этот улыбающийся и изящно грассирующий Прудков, в лице которого я, сам того не подозревая, обрел личного врага. Так было всегда в моей жизни — я довольно трудно сходился с людьми и куда быстрее обрастал недругами. В "Литературке" в их числе довольно скоро оказался горбун Чернецкий. Он называл меня не иначе как "дружище". Но это неизменное "дружище" сопровождалось резиновой улыбкой, говорившей о нашей психологической несовместимости. Мне казалось, что его раздражало во мне все и более всего мои бесконечные предложения и моя бьющая через край энергия. И маленького Тера во мне тоже что-то шокировало. Он всякий раз не упускал случая напомнить, откуда я пришел в "Лите-

ратурную газету", упорно не желая запомнить названия моего бывшего журнала. Он называл его не "Советские профсоюзы", а "Профсоюзы СССР".

Уже вскоре после прихода в "Литературку" я заметил, что превыше всего здесь ценилась в людях интеллигентность. Об этом говорили и на летучках, и между собой. Наиболее уважаемыми считались сотрудники с интеллигентным стилем и интеллигентным подходом к теме. И, напротив, любое проявление неинтеллигентности предавалось остракизму. Но не так-то просто было понять, что за свод нравственных норм скрывался за этой постоянно возносимой в газете интеллигентностью.

На другой день после выхода в свет "Литературного репортера" мне было предложено представить Чернецкому список писателей, к которым "ЛР" намерен пойти в гости. В список этот, помню, вошли Твардовский, Паустовский, Симонов, Катаев, Каверин, Леонид Леонов, Федор Абрамов.

Горбун прочел список и поименно начал разбирать представленных кандидатов.

— Значит, Твардовский, так-с, а знаете ли, дружище, что Твардовский вообще не изволит разговаривать с нашим Александром Борисовичем? Не принимает он нас. Паустовский? Давайте старика оставим в покое. Ему спокойнее и нам спокойнее. Понимаете, нужны писатели действующие. Каверин? Только через труп Александра Борисовича. Слыхали о каверинском письме к Федину по поводу Солженицына? Нет? А зря! Самиздат надо читать. Называет он там Федина душителем русской литературы, а он, Вениамин Каверин, спаситель...

Симонова тоже выбрасываю, Чак с ним не контактирует. С остальными идите к Евгению Алексеевичу, он все-таки зам по литературе, — заговорщически подмигнул мне горбун и вернул список.

От всего списка осталось трое — Леонид Леонов, Катаев и Федор Абрамов. Леонова Кривицкий тут же вычеркнул:

— Сложный старик, Виктор Борисович, подождем...

— Катаев, Катаев... — продолжал он мучительно размышлять вслух.

— "Белеет парус одинокий", — решил я помочь ему,— помните, Евгений Алексеевич, какая чудесная книга?

Вошел Тер и, перегнувшись через спину Кривицкого, молча заглянул в список:

— "Трава забвения"? Катаев? — выразительно продекламировал он название последнего катаевского романа.

— "Трава забвения", — мучительно морщил лоб Кривицкий и, вдруг улыбнувшись светлой мальчишеской улыбкой, решительно отложил список. — И с ним подождем! Верно, Артур Сергеевич? — взглянул он на Тера.

— Абсолютно! — прошамкал губами Тер. — Вы же знаете, Евгений Алексеевич, мою точку зрения. Вычеркнуть всегда лучше, чем вписать. От этого с инфарктом миокарда еще никто не слег.

А я был рад, что оставили хоть Абрамова. Федор Абрамов был новомирцем, настоящим крестьянским писателем, вечно странствующим по северной России и прогремевшим своим романом "Две зимы и три лета", в котором во всей красе показал сталинскую деревню.

Накануне выхода репортажа о Федоре Абрамове, находящемся проездом в Москве, его пригласили в редакцию, чтобы сделать фото. Фоторепортер Нисневич долго крутил перед юпитером его тощую кряжистую фигуру, заставлял то вставать, то садиться, пока наконец не нашел для него интеллектуальной позы за огромным письменным столом Чака. Снимок был так и назван: "Федор Абрамов за рабочим столом".

Перед уходом Абрамов подошел ко мне и, стеснительно улыбаясь, сказал:

— Знаете, мне про вашу газету такие страсти порассказали. Страшные, говорят, нравы. А я вот смотрю на вас, вроде порядочный человек. Я о чем хотел вас попросить — чтоб, не дай Бог, в мою речь не вписали чего. Вычеркнут — ладно, чужое впишут — беда...

Я вспомнил, что репортаж уже прочел Кривицкий, полоса была сверстана и, пожав на прощание Абрамову руку, сказал:

— Никакие у нас не страшные нравы, убедитесь завтра сами, когда прочтете о себе статью.

Но статьи о себе он так и не прочел. Когда наутро я вошел к Кривицкому и увидел висящую над его столом полосу, то ни репортажа, ни многострадального снимка "Федор Абрамов за рабочим столом" не нашел.

Возмущенный, я попытался выяснить, в чем дело. Но Евгений Алексеевич резко оборвал меня:

— Виктор Борисович, редколлегия знает, что делает!

Вошел горбун и, как-то боком ко мне приблизившись, негромко сказал:

— Бесполезный спор, слышали, дружище, что Кузнецов сбежал? Нет? А зря, западные радиостанции надо слушать. Теперь он у нас господин Анатоль...

— Но при чем тут Абрамов, какая связь?

— Все со всем связано, — загадочно улыбнулся горбун.

В тот день я себя чувствовал так, словно сам совершил нечто непорядочное и даже мерзкое. Я хотел тут же написать Абрамову, объяснить. Однако что я мог написать, разве только повторить за горбуном, что все со всем связано? Но ради этого не стоило тратить бумагу.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ АССОЦИАЦИИ

Я работал в "Литературной газете" в мрачное для интеллигенции время. Это время, начало которому положили процессы над Синявским и Даниэлем, а затем над Гинзбургом и Галансковым, обычно связывают с приходом к власти брежневского руководства, вставшего на путь жестокого преследования инакомыслящих. Мне часто приходилось слышать о попытках Брежнева вернуться к эпохе Сталина, но оставалось непонятным, отчего именно в последнее время партия с такой силой обрушилась на интеллигенцию. Мне кажется, что ответ на этот вопрос надо искать в противоречиях самой системы, которая в условиях современной научно-технической революции уже не может оставаться системой замкнутой. Она вынуждена развивать науку, идти на открытое сближение с Западом. Все это не может не способствовать рождению новой интеллигенции, но перед ней как раз и испытывает страх режим, который оказывается в тисках неразрешимых противоречий.

Разумеется, после XX съезда партии уже невозможен был возврат к массовым репрессиям против интеллигенции по сталинскому образцу, но что режим в силах был сделать — это установить жесточайший контроль над умами людей. Официально ни о какой цензуре не было и речи. Официально это называлось улучшить партийное руководство жизнью творческой интеллигенции.

В одной из своих статей Виктор Шкловский писал, что Булгарин не травил Пушкина, он просто давал ему руководящие указания. Партия и ее Центральный Комитет также давали писателям лишь руководящие указания. Каждые две недели Чаковский, а в его отсутствие Сырокомский отправлялись в ЦК на совещания руководителей идеологических учреждений страны. С докла-

дами и сообщениями на этих совещаниях обычно выступал секретарь ЦК по пропаганде Демичев или один из его замов.

Желая подчеркнуть особую миссию партии, считавшей себя не вправе оставлять писателей вне поля своего зрения, они часто ссылались на Ленина и его статью "Партийная организация и партийная литература" и не забывали даже упомянуть то место в статье, где Ленин прямо выступал против голого командования литературой со стороны партии. Но это не мешало им тут же давать прямые указания, кого издавать и кого не издавать, что печатать и что не печатать, — более того, давать директивы, как писать, о чем писать, чтобы написанное и изданное соответствовало идеологической линии партии. Впрочем, "директивы" — возможно, не совсем то слово. На этих совещаниях обычно говорили "ЦК партии советует", "ЦК рекомендует", чтобы даже внешне не создавалось впечатления, что партия, игнорируя ленинские указания, командует интеллигенцией. Но руководители идеологических учреждений великолепно знали, какие для них наступят последствия, если они позволят себе не прислушаться к этим товарищеским советам и рекомендациям. В официальной печати все это называлось "ленинской заботой партии о литературе и искусстве".

Более других эту " заботу" чувствовал на себе журнал "Новый мир", который к концу шестидесятых годов остался единственным оплотом русской либеральной мысли. Главный редактор журнала Александр Твардовский упорно не желал прислушиваться к советам товарищей из ЦК. Это вызывало все большее недовольство партийных аппаратчиков, и журналу приходилось претерпевать все более изощренные препоны цензуры. Цензура обязана была изымать здесь не только прямую

крамолу. Контролю подлежало даже то, что не поддавалось прочтению. Политически вредным могло быть признано любое произведение, даже и не относящееся к жизни СССР (а например, о дореволюционной царской России или гитлеровской Германии), но которое, по мнению цензора, способно было навести читателя на нежелательные мысли о режиме. В предписании цензуре было так и сказано — "устанавливать неуправляемые ассоциации", очерняющие в глазах читателя советскую действительность.

В отличие от "Нового мира" к "Литературной газете" руководители ЦК относились в высшей степени благожелательно — курировал "Литературку" лично Суслов, и газета считала своим долгом оправдать доверие ЦК.

В этой обстановке я и входил в жизнь газеты, точнее ее литературных отделов, или, как говорили здесь, "первой тетрадки".

РЕПЛИКИСТ МИША СИНЕЛЬНИКОВ

Ведущими в первой тетрадке были два отдела: русской литературы и литературы народов СССР. Первым, как я уже писал, руководил еврей Миша Синельников. Он был маленький, как гном, с мощным орлиным носом, и, кажется, ничего более несообразного в человеческом облике вообще нельзя было придумать.

У Миши было три главных предмета гордости — его русская жена, блондинка Алена, дочь полковника в отставке, его кот Степан, который, по Мишиным словам, был настоящим интеллектуалом. И, наконец, особый предмет Мишиной гордости — занимаемая им номенкла-

турная должность редактора отдела русской литературы. Эта должность давала Мише право иметь наравне с членами редколлегии большой кабинет и в своем подчинении 12 или 14 сотрудников. И каждому он, подобно Чаку, мог устроить разгон.

Но, как говорили злые языки, в глазах самого Чака наибольшим признанием пользовался не его талант администратора и даже не его способности литературного критика, а его непревзойденное умение писать реплики по поводу произведений, которые хотели срочно раскритиковать в ЦК.

В ЦК громили прежде всего "Новый мир" и новомирцев, и Миша усердно выступал против таких, как Твардовский, Каверин, Василь Быков... Это была не очень чистая,но, по убеждению Миши, очень ответственная работа. Свое "черное дело" Миша делал по прямым указаниям отдела пропаганды ЦК и под непосредственным руководством Чака. Делал он его в большом секрете и, как правило, в последнюю ночь перед выходом газеты. Наутро появлялся в редакции невыспавшийся, с огромными синяками под глазами, но втайне гордый исполненной миссией, потому что никто в редакции не удостаивался чести писать под личным руководством Чаковского.

Единственно неприятные минуты ему доставляли объяснения с сотрудниками, в глазах которых Мишина деятельность "репликиста" не вызывала особого уважения. И он, кому только было возможно, пытался объяснить, что он сам так бы никогда не написал и что последнюю фразу ему вообще вставили там, на "Старой площади".

— Я думаю, умный человек поймет, — обычно заключал Миша, — что от меня тут вообще мало что зависело. Написал я, как нужно было "там".

Подвело Мишу все-таки его еврейство. Точнее, еврейство вкупе с его бонапартовским честолюбием. Подобно старику из пушкинской "Сказки о золотой рыбке" Миша, потеряв всякое чувство меры, стал настаивать, чтобы его сделали членом редколлегии. Впрочем, сам он никогда бы до подобной дерзости не дошел, если бы в один прекрасный день членом редколлегии не сделали редактора отдела литератур народов СССР Ахияра Хакимова.

В отличие от Миши писатель Ахияр Хакимов реплик не писал и вообще не писал ничего. Заслуга его была в другом. Он был единственный нацмен в газете, и его уникальная в условиях "Литературки" фамилия Ахияр Хакимов могла лишь украсить список членов редколлегии, публикуемый на последней странице.

После происшедшего Миша Синельников почувствовал себя настолько уязвленным, что тотчас пошел к Чаковскому и положил ему на стол заявление об уходе по собственному желанию. По словам Миши, с Чаком чуть не случился инфаркт. Но как потом рассказывали секретарши Александра Борисовича, последний воспринял Мишин демарш довольно спокойно. Он сказал для приличия:

— Михаил Хананович, право, я не знаю, газета вас очень ценит, — но особенно уговаривать Мишу не стал и в тот же вечер написал на заявлении Синельникова: "Согласен".

Потеряв свое высокое кресло, Миша утратил к себе всякий интерес сотрудников. Сам он переживал свой уход страшно, хотя и старался не показать вида. Говорил, что все ему подстроил антисемит Кривицкий, боявшийся больше всего на свете его конкуренции, и что Алена ему уже давно говорила, чтобы уходил он на вольные хлеба. А мне почему-то было жаль Мишу — не было в редакции большего трудяги, а у Чаковского — бо-

лее преданного сотрудника. Но оказалось достаточно нескольких минут, чтобы он оказался за бортом. Кажется, тогда впервые я задумался над нравами "Литгазеты", где так много говорили о демократии и так просто увольняли сотрудников. Человека вызывали к Сыру, и тот, прощупывая его из-под линз очков, тотчас переходил к "делу". Не имело никакого значения, что месяц-другой назад первый зам лично превозносил этого сотрудника до небес, не имело значения, что он сам его брал на работу, — стиль беседы всегда был один и тот же.

— Что-то у нас с вами не очень клеится? — то ли вопрошал, то ли отвечал сам себе Сыр. — Скажу откровенно, редколлегия ждала от вас другого. Сколько времени вам нужно, чтобы найти место? Три недели — месяц хватит? Садитесь и пишите заявление...

Помню, как Миша обходил отдел за отделом и, забыв, что на уход напросился сам, всем без разбора жаловался на хамство руководителей редакции. И как заведующий отделом науки Володя Ривин пытался его утешить:

— Что поделаешь, Михаил Хананович, все мы, как на судне во время шторма. Сегодня выбросило одного, завтра другого...

В чем-то в "Литературке" действительно царила демократия. На вечерах, например, все, от Чака до Сазонова, сидели за общим столом, в кабинете Александра Борисовича, и ухаживали за одними и теми же женщинами, и пили одну и ту же водку. В такие минуты всем все разрешалось и пьяный Сазонов мог хлопнуть по плечу самого Чака:

— Что-то, Александр Б-б-борисович, у нас с вами не клеится, во всяк-к-к-ком случае, редколлегия ждала от вас совсем другого.

Все хохотали, и Александр Борисович тоже смеялся — юмор Сазонова был в рамках дозволенного. О недозво-

ленном предпочитали молчать. И только, когда Чак или его замы начинали "зверствовать" и, перестраховываясь, снимать материал за материалом, то эта сверхзапретная тема нет-нет, да и выползала на свет Божий.

В отделе у Миши Синельникова был сотрудник, который досконально знал личную жизнь редактора и при случае никогда не отказывал себе в удовольствии позубоскалить по поводу того, чего бы мог лишиться Чак, если бы рискнул пропустить хорошую рецензию о ком-нибудь из новомирцев. Во-первых, кремлевки первой категории, дававшей право покупать продукты по ценам двадцатого или двадцать первого года (по данным этого сотрудника, они были в десять раз ниже существующих), во-вторых, двойного оклада перед отпуском, в-третьих, бесплатной путевки в санаторий ЦК или Совмина, в-четвертых, кремлевской больницы для себя и членов семьи, в-пятых, бесплатной дачи в любое время года... Всего он так и не мог перечислить и заканчивал обычно анекдотом из приватной жизни Чака или Кривицкого и связанным все с той же магической "кремлевкой".

Кривицкий и его жена Нора, сотрудница Госкомитета по делам кинематографии, были бездетны, и Нора вечно стояла перед проблемой, что делать с продуктами, купленными в кремлевском распределителе. Уступать соседям по даче в Переделкино она стеснялась Поэтому, чтобы их реализовать, ей всякий раз приходилось предпринимать сложные комбинации, о которых сотрудник из отдела Миши Синельникова знал в деталях.

Что касается жены Чака, то с ней, по его сведениям, случались неприятности иного свойства. По каким-то причинам (каким точно никто не знал) ей иногда приходилось питаться в "городе", в связи с чем она раз или два отравилась. О каждом из этих случаев наш "Зорге" был так же великолепно осведомлен и с вдохновением

живописал, как бедняжка мучилась от того, что поела "городской колбасы". По его подсчетам, заработок Чаковского в четырнадцать раз превышал зарплату рядовых сотрудников.

Обычно "Литературная газета" выходила по средам. Но это для читателей. Фактически номер подписывался в понедельник ночью, и со вторника для редакции начиналась новая неделя. Во вторник в час дня проходила планерка, на которой председательствовал Чаковский, а если он отсутствовал (что случалось чаще всего), то всем руководил Сыр.

На планерке обычно говорили о последнем номере, как он шел, какой из отделов его задержал. Срывался он чаще всего из-за того, что в последнюю минуту звонил Чак или кто-нибудь из ЦК и требовал что-то вставить или что-то выбросить, но об этом на планерке говорить не полагалось и виновных искали в самой редакции.

В бытность Миши Синельникова Александр Борисович обычно начинал с него. Каждый раз выяснялось, что реплику Миша давал с опозданием и именно из-за него задерживался номер.

— Михаил Хананович, так работать нельзя! — раздувал в волнении сигару Чак. — Вы когда получили мои последние замечания? В десять тридцать? А когда сдали материал? Пять минут двенадцатого! На две фразы тридцать пять минут!

— Нет, там было не две фразы, Александр Борисович,— пытался объяснить Миша, не решаясь напомнить Чаку, как все было на самом деле.

— Ну так три! Сколько вам надо на три? Час-два? — переходил на крик Чак. — Это же безрукость!

— Виноват, — соглашался Миша, понимая бесполезность дальнейшего спора, — к следующему номеру примем меры. — Но никаких мер Миша не принимал

и принять не мог, и в следующий вторник все начиналось сначала.

Когда Синельников ушел, то всем стало доставаться поровну, исключая отдел информации, он был виноват всегда и во всем. И к тому же на него чаще всего шли жалобы.

Существовал целый свод неписаных правил, как надлежало писать о самих писателях. Упоминать их надо было строго по алфавиту, независимо от заслуг каждого. Если кто-то имел звание, то обязательно со званием — скажем, Герой Социалистического Труда такой-то или Герой Советского Союза такой-то. Если давался портрет одного, то рядом полагалось помещать портреты остальных. Если пропускали чей-то юбилей, то грозил скандал. Если не давали некролог о смерти, то грозил еще больший скандал.

Особую ответственность отдел нес за освещение литературной жизни национальных республик. Вообще для этого существовала целая сеть собственных корреспондентов, но, поскольку почти никто из них не умел писать, заведующий корсетью Константин Багратович Серебряков всякий раз спешил во всем обвинить "Литературного репортера". Серебряков был армянин, говорил с резко выраженным сталинским акцентом и свою миссию видел в том, чтобы стоять на страже ленинской национальной политики.

— Александр Борисович, Виталий Александрович,— обращался он одновременно и к Чаку, и к Сыру, — я хочу спросить наш отдел информации, когда наконец они дадут материал нашего грузинского корреспондента Елигулашвили о встрече грузинских писателей с товарищем Мжаванадзе? Первый секретарь ЦК Грузинской республики лично принимает писателей, а мы это воспринимаем с холодным сердцем. Еще хочу сказать о ма-

териале Калантара из Еревана — о встрече молодых, лежит, Александр Борисович. И из Эстонии лежит...

Чак согласно мотал головой, я пытался что-то сказать о качестве материалов.

— А вы на что! — взрывался Серебряков. — Если недостаточное качество, помогите товарищам. Это, товарищ Перельман, вам не Москва! Это национальные республики.

Речь Серебрякова не очень занимала Александра Борисовича, но, как только он слышал фамилию Мжаванадзе, или Ахундова, или еще кого-то из секретарей ЦК, лицо его становилось жестким и непримиримым.

— Черт знает что! — возмущался он, — просто какая-то политическая тупость.

ЛИМИТ НА ПАСТЕРНАКА

День за днем я убеждался в печальной истине: все подлинное, что было в русской литературе, не имело отношения к "Литературной газете". Она жила своей жизнью, а настоящие писатели — своей. И "Литературная газета" не замечала ни их самих, ни их творчества. Разве только "репликист" Миша Синельников время от времени напоминал читателю, что есть еще такие писатели, как Каверин, Антокольский, что есть журнал "Новый мир" и его главный редактор Твардовский, допускающие, впрочем, одну за другой идеологические ошибки.

Других не упоминали вообще, ими занимались непосредственно на "Старой площади", в отделе пропаганды ЦК. К таким неупоминаемым ни печатно, ни устно относился прежде всего Александр Исаевич Солженицын.

За четыре года моей работы в "Литературной газете" он так и не переступил ни разу ее порога. Зато шли о нем всякие измышления, что сотрудничал он с "власовцами", что был в немецком плену, за что и был справедливо осужден советским судом. Старый прием партийных аппаратчиков: когда невозможно было расправиться с кем-то открыто, пускалась в ход клевета.

Но оклеветанный, недопускаемый ни к одному издательству и не имеющий даже права жительства в Москве, Солженицын даже своим молчанием наводил страх на чиновников от литературы. И в "Литгазете" этот страх ощущался больше, чем где бы то ни было.

Был в нашей редакции свой собственный цензор, чью фамилию я запамятовал, но имя почему-то запомнил — Жора, совсем еще юный белобрысый бородач, остряк и циник, — тип, довольно редко встречавшийся среди тупоголовых чиновников Главлита. Но Жора был все-таки цензором "Литературки" и потому мог себе позволить быть не таким, как все. По характеру Жора был демократ, свой парень, вечно торчал в отделе информации и резался в шахматы с нашим спецкором Гурвичем. И только в некоторые дни Жора, подобно солдату, вызванному на призывной пункт, преображался и становился тем неприступным политредактором Главлита, каким ему и подобало быть по должности. Один из таких дней случился вскоре после моего прихода в газету. Уже к вечеру пришла секретарша Горбунова-Гиндельмана и сказала, что нам с Гурвичем велено домой не уходить, мне — как заведующему отделом информации, Гурвичу — как дежурному по отделу. Вскоре стало известно, что такое же распоряжение дано редактору отдела русской литературы Синельникову и одновременно всему бюро проверки — сидеть и ждать. Ожидается появление чрезвычайно ответственного материала.

Лишь в 10 или 11 вечера стало известно, что материал наконец прибыл. С нарочным. Откуда — не спрашивали: раз с нарочным — значит, из ЦК. Но и после этого его еще час, наверное, держали в секрете. Пока из типографии не пришли гранки. Гранки решили передать на вычитку лично Синельникову. Всех остальных отпустили, и уже перед самым уходом техред Анна Ивановна под строжайшим секретом успела шепнуть мне:

— Материал о Солженицыне, только, ради Бога, не выдавайте меня!

В вестибюле я встретил Жору, он окинул меня неприступным, многозначительным взглядом, словно хотел сказать: "Бывают, мой друг, минуты, когда не дано права шутить".

Назавтра в "Литературной газете" была опубликована печально знаменитая статья "Идейная борьба и ответственность писателя", положившая начало открытой травле Солженицына. И впоследствии всегда было так: статьи о Солженицыне приходили тайно, никем не подписанные и, минуя сотрудников, шли в печать. Впрочем, случалось, что в "Литгазету" попадали письма самого Солженицына. Заведующий отделом писем Залман Эфраимович Румер их тут же препровождал в КГБ, но тексты их еще долго ходили по редакции. Помню, как на следующий день после исключения Солженицына из Союза писателей меня зазвал к себе один из сотрудников (тот самый, что был "свежей головой", когда материал о Солженицыне шел в печать) и наизусть прочел открытое письмо Солженицына секретариату Союза писателей РСФСР: "... Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили..."

— Здорово, а? Без дураков! — не уставал он повторять и читал дальше...

"В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть — бдительность, а только "держать и не пущать!".

В "Литгазете" это давно стало обычным явлением. Думали иначе, чем писали. Это раздвоение личности когда-то великолепно подметил Александр Яшин в своем рассказе "Рычаги". Но там, в яшинском рассказе, в качестве "рычагов партии" выступали полуграмотные колхозники, а здесь, в "Литературной газете", были люди интеллигентные, понимающие всю ложь окружающей их жизни.

Однажды после тяжелой недели мы ехали в редакционном автобусе на нашу литгазетовскую дачу в Шереметьево. Дорога шла по живописному Подмосковью, все вокруг цвело, и мой сосед, один из старейших сотрудников "Литературки", сказал:

— Если бы ты только знал, как осточертела эта ложь, все эти потемкинские деревни, все эти новаторы и парторги. Когда это кончится? Ты еще, может быть, увидишь небо в алмазах, а мне уже шестьдесят третий год, я уже ничего не увижу...

Через месяц или два он получил премию от редколлегии за очередной свой очерк о передовиках "Уралмаша".

Сколько раз я наблюдал, как правда и ложь — эти извечные антиподы человеческой души — великолепно уживались в характерах встречаемых мной людей — и тех, кто был мне симпатичен, и тех, кого я глубоко презирал.

Как-то наши юмористы из "Клуба 12 стульев" устроили в кабинете Чаковского вечер и пригласили на него популярного эстрадного певца Владимира Ножкина.

Ножкин был в ударе. В интимном окружении журналистов "Литературки" он одну за другой исполнял самиздатовские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Пел о нищем солдате, отдавшем жизнь за великого Сталина, о "товарищ Парамоновой из ВЦСПС", о бесконечно присылаемых сверху начальниках. И никого не волнует, что один — жулик, другой — взяточник, третий — просто подлец... "И нам нового начальника прислали..." — шел после каждого куплета припев...

Все смеялись и аплодировали. И сидящие ближе всех к Ножкину Чак с Сыром тоже смеялись. Чак бесшумно, не выпуская изо рта сигару, Сыр во всю грудь, покатываясь от смеха на стуле. И старая лиса Тер аплодировал и плотоядно при этом хохотал, стараясь не отставать в выражении удовольствия от главного редактора и его первого зама.

То была правда, горькая и смешная, — не для народа — для них, для узкого круга. Они знали ее и делали все, чтобы она не дошла до читателя. И делали даже большее, о чем еще речь впереди.

Думаю, что в душе они понимали, что Солженицын — великий писатель и несет в своих книгах правду о России. Но, как любил говорить Чак, правда — понятие партийное, и солженицынская правда могла принести только вред.

Солженицын был живым. Но газета испытывала страх и перед мертвыми. И всякий раз циник Жора, который почему-то считал, что следить за мертвыми — его первейшая задача (может быть, потому, что за живыми следил лично Чаковский), не упускал случая сострить по поводу комичности ситуации.

Был случай, когда "Литературному репортеру" разрешили взять интервью у Андрея Вознесенского. По каким-то неизвестным причинам ЦК решил сделать великодуш-

ный жест в сторону "молодых". Интервью Вознесенский закончил четверостишием Пастернака, но на всякий случай, решил не упоминать фамилию автора. Он просто написал: "Как сказал поэт..." — и далее шли стихи. Уже после того, как интервью подписал Кривицкий и мы от души поздравили Андрея — материал действительно был блестящим, — вошел сияющий Жора и сказал, что он имеет нам кое-что сообщить насчет стихов:

— Вычеркнуть, друзья, и немедленно!

— Но отчего? — недоумевал Гурвич.

— Отчего? — обворожительно улыбался Жора.—Оттого, что лимит на Пастернака у нас уже давно кончился.

Я смотрел на сияющее Жорино лицо — он никак не мог нарадоваться собственному остроумию — и про себя думал, что, в сущности, более меткого словца тут и не подберешь. Лимиты... они выползали на свет Божий тотчас же, как я пытался приоткрыть щель для чего-то истинно талантливого: в годовщину Бабеля ему уделили два маленьких пятидесятистрочных столбца. По-видимому, еврей Бабель, подаривший миру еврея Беню Крика, по разумению официального еврея Чаковского, большего и не заслуживал. Были негласные лимиты на Багрицкого, на Светлова, а когда хотели опубликовать что-нибудь об Эренбурге, то всякий раз звонили в ЦК, чтобы посоветоваться. Впрочем, были и внелимитные литераторы — главные персонажи "человеческой комедии", ежедневно разыгрывавшейся на моих глазах. В этой "человеческой комедии" я был не просто зрителем, а почти участником.

Я бы даже сказал, участником, если бы не решился раз и навсегда покинуть эту сцену.

КОМЕДИАНТЫ

Так уж повелось, что в отдел информации заходили все — и признанные, и непризнанные — кто по пути к Чаковскому, кто узнать, когда у него будут брать интервью, кто просто, чтобы дать информацию о каком-нибудь собрании в Союзе писателей. То были мгновенные встречи и затянувшиеся разговоры, но всех я их видел без выразительных поз и громких фраз, сопутствовавших им на трибуне. В своей родной "Литературке" они могли себе позволить оставаться самими собой.

Однажды в отдел зашел седой длинноногий человек с живым и простодушным лицом, чем-то похожий на нашего Сазонова из "Клуба 12 стульев", но гораздо более представительный и импозантный, чем Сазонов. Я сразу в нем узнал Сергея Михалкова, недавно удостоенного Ленинской премии за цикл детских стихов о дяде Степе и избранного председателем правления Московской писательской организации.

Он подал мне руку и, сильно заикаясь (он и заикался, как наш Сазонов), сказал, что принес для нашего отдела интересный материал — свой писательский дневник за неделю — что делал, как работал, с кем встречался. Он так и озаглавил его "Неделя писателя" и просил меня тут же прочитать.

Пока я читал, позвонил Сырокомский и сказал:

— Виктор Борисович, сейчас к вам придет Михалков, надеюсь, вам не надо говорить о необходимости внимательно отнестись к его материалу. Живой писательский дневник, не так часто мы это имеем...

Но в дневнике Михалкова почти ничего не было о том, как он пишет, зато было очень много о его творческих планах, осуществить которые ему мешала занятость общественной работой. То принимал друзей из

ГДР, то, наоборот, друзья из ГДР приглашали его к себе. То заседание в Моссовете, то прием в Кремле. В материале было все, что должно было показать беспокойную и кипучую жизнь писателя и общественного деятеля. Было здесь даже место, когда Сергей Владимирович, несмотря на свою страшную занятость, помог одной из сотрудниц сатирического киножурнала "Фитиль" (где он был главным редактором) обменять комнату на отдельную квартиру. Когда я дошел до этого места, Михалков не выдержал и спросил:

— Ну, к-к-как, крутимся, ч-ч-черт подери?

И тут же спросил:

— К-к-когда пойдет?

Я сказал, что в этот номер можем не успеть. На простодушном лице Михалкова появилась обиженная гримаса:

— Надо успеть, ч-ч-черт подери!

(Вскоре я узнал, почему так спешил Михалков, — приближался отчет правления Московской писательской организации.) И материал, конечно, дать успели.

Сергей Владимирович лично следил за его прохождением, без конца приходил в отдел, интересовался, не сократили ли чего, и всякий раз что-нибудь из отдела уносил. Слухи о патологической жадности Михалкова уже давно ходили по Москве. Рассказывали даже анекдот, что во время войны, еще в бытность Сталина, он ухитрился во время обеда в Кремле припрятать в портфель жареную курицу, но, замеченный бдительными сталинскими стражами, курицу вернул. Однако не растерялся и тотчас объяснил, что "сувенир" этот хотел взять исключительно в память о встрече с товарищем Сталиным.

Из отдела в первый раз он унес новенький календарь, который хозчасть только что раздала сотрудникам, затем еще что-то. В последний свой приход увидел на моем сто-

ле бутылку конторского клея. Простодушно улыбнулся и сказал:

— Смотрите, ребятки, к-к-клей, и какой чудесный, мне как раз надо клеить доклад!

И тотчас стал засовывать бутылку в портфель. Кто-то из нас не выдержал и сказал:

— А зачем он вам? Попросите секретаршу, пусть купит.

— Секретарши все лентяйки, не допросишься! — ничуть не смутился Сергей Владимирович и, застегнув портфель, стал нежно прощаться.

Даже парторг МГК КПСС Московской писательской организации, бывший генерал КГБ, Аркадий Васильев не обошел своим вниманием отдел информации. На собраниях в Центральном доме литераторов он громил так называемых "подписантов" — тех, кто осмелился поднять голос в защиту Гинзбурга и Галанскова. Во время чехословацких событий он первым от имени советских писателей приветствовал вторжение советских войск в Чехословакию.

В отдел информации он пришел по чисто личному вопросу с дочуркой Груней, как он сам представил худенькое дистрофичное существо, сопровождавшее его. Вошел он бочком, чуть косолапя и в обычной своей манере пересыпая речь бесконечными прибаутками, и никак не разобраться было — шутит он или говорит серьезно:

— Вот привел литературное пополнение — Груня Васильева. Изъявляет желание выехать с группой писателей в Орехово-Зуево, на встречу с рабочим классом. Решила идти по отцовским стопам. Трудную, говорю, дочка, выбрала дорогу. Все равно — свое, пойду на факультет журналистики.

Из этих словесных кренделей Аркадия Васильева вообще трудно было что-то понять, но помог Сырокомский. Он вызвал меня и, по обыкновению не стесняясь в выра-

жениях, сказал, что эту "писюху" Груню Васильеву придется послать в командировку за счет "Литгазеты". Раз у папы не хватило тридцатки... (надо отдать должное Сыру, иногда он позволял себе быть искренним) .

Вскоре на моем столе появился репортаж Груни Васильевой "Всегда с массами". Будь моя воля, я бы не поместил его даже в многотиражку "За рулем автомобиля", в которой я когда-то работал. Но, по указанию того же Сыра, в "Литгазете" репортажу Груни Васильевой была дана зеленая улица.

Так вот все они проходили передо мной чередой — не в парадных костюмах, в домашних халатах — вышедшие из-за кулис комедианты, которых официальная печать называла писателями-ленинцами. Были среди них и некогда талантливые. Но за мишурную славу, за сделки с совестью приходилось дорого расплачиваться — не гонораром, не жизненным благополучием, которого у них было более чем достаточно, а душевной деформацией, невидимыми и необратимыми изменениями, которые исподволь, год от года превращали их в увенчанных славой творческих импотентов.

Когда умер Констанин Паустовский, в "Литгазете" долго думали, кому писать некролог, пока наконец не решили обратиться к председателю правления Союза писателей СССР Константину Александровичу Федину. Никто не задумался, какая в том была издевка, что Федин, затравивший некогда Пастернака, запретивший печатать солженицынский "Раковый корпус", теперь должен был сказать последнее слово об одном из самых честных и талантливых русских писателей. О Паустовском Федину сказать было явно нечего. И он написал, что тот очень любил русскую природу и обожал рыбную ловлю и заключался великий символ в том, что он ушел из жизни в "День рыбака".

Такого не мог пропустить даже Чаковский. Федина стали убеждать, что, мягко говоря, не этично упоминать имя Паустовского рядом с профсоюзным праздником "День рыбака". Но семидесятипятилетний Федин был неумолим. Он говорил, что связь Паустовского с "Днем рыбака" — это его личная и превосходная находка, подчеркивающая связь Паустовского с людьми труда.

Выход нашли самый неожиданный. На дачу к Федину послали подругу его юности, пенсионерку Веру Николаевну Голубеву, пришедшую в "Литературку" поработать на два месяца. В редакцию Вера Николаевна пришла поздно вечером и, что называется, на коне. Фразу насчет "Дня рыбака" Константин Александрович вычеркнул, но, как не без гордости поведала нам Голубева, сказал:

— Делаю это, Верочка, только ради тебя...

ПРАВДА И ЛОЖЬ "ЛИТЕРАТУРКИ"

На партийных бюро все чаще критиковали отдел информации за то, что он уходит в сторону от главного и совершенно не освещает творчества писателей, пишущих о нашем современнике. В качестве доказательства приводилось непошедшее интервью с Федором Абрамовым, который, хотя и пишет о деревне, но далек от подлинных устремлений тружеников села.

Более всех неистовствовал на партийных бюро зав корсетью Серебряков. Он обвинял меня в искривлении ленинской национальной политики.

Надо мной явно сгущались тучи, но до конца я не понял этого даже на редколлегии, собравшейся обсудить работу отдела информации. Мне первому предоставили

слово, и я сказал, что так дальше работать нельзя. Отдел захлестывает поток серых материалов, но газета упорно молчит о подлинных писателях и подлинной литературе. Я чувствовал, что явно перехожу границу дозволенного, но, к моему удивлению, Чаковский, взявший первым слово, был на редкость спокоен. И, закурив сигару, он заговорил совсем не об отделе информации, а о новых задачах, которые поставил Центральный Комитет партии перед Союзом писателей,— добиться дальнейшего сближения русской и национальных литератур. Это указание ЦК нашей партии отдел информации ни на минуту не должен забывать.

— А к Борису Викторовичу, — неожиданно улыбнулся Чак (он так и не запомнил моего имени и отчества),— мы, как говорится, не можем иметь никаких претензий.

Затем слово взял Прудков.Он, по обыкновению, дружелюбно мне улыбнулся и сказал, что, к сожалению, в отделе так и не удалось наладить товарищеских отношений между сотрудниками и что он, как секретарь партбюро, несет за это самую прямую ответственность.

И только Сыр с присущей ему прямолинейностью расставил точки над "i ".

— Не понимаю, к чему столько слов, — сказал он, — вопрос абсолютно ясен. — И, блеснув в мою сторону линзами очков, добавил, что в интересах лучшего освещения литературной жизни страны он предлагает объединить отдел информации с отделом корреспондентской сети.

Наступило неловкое молчание, которое тут же прервал Чак:

— Я только хочу еще раз подчеркнуть, — улыбнулся он в сигарном дыму, — что к Борису Викторовичу (Виктору Борисовичу, — подсказал ему Кривицкий), да, к Виктору Борисовичу, — решил поправиться на этот раз Чак, — мы не имеем никаких претензий. Сама жизнь,

как говорится, подвела нас к необходимости провести реорганизацию.

Назавтра стало известно, что заведующим объединенным отделом назначается член Союза писателей Константин Багратович Серебряков, а через неделю навсегда исчез злополучный "Литературный репортер", на месте которого вновь появилась "Литературная жизнь страны". Так все и кончилось: реформаторские мечты, бессонные ночи, — все оказалось пустым и ненужным.

Сразу же после редколлегии меня вызвал Сырокомский и сказал:

— Помните, как я вас предупреждал, что не удержитесь. Вы меня извините, но вы ж ни черта не умеете уживаться с людьми...

Кого он имел в виду, я так и не понял. Вслед за ним меня пригласила к себе зав отделом кадров Галя Сухарева (когда-то она была секретаршей Чака, и в газете ее звали просто Галкой) и, виновато улыбаясь, сказала:

— Послушай, Вить, что делать-то будем? Должности ведь для тебя нет.

И я бы действительно не знал, что делать, если бы в отделе науки не освободилось место специального корреспондента и заведующий отделом Володя Ривин не пригласил меня на нее.

Отдел науки был лучшим отделом "второй тетрадки", а вторая тетрадка, освещавшая проблемы внутренней жизни, создала популярность всей "Литературной газете".

Первую тетрадку делали для ЦК, вторую — для читателей, и об этом я хочу сказать несколько слов. Тем более без этого трудно понять, почему, несмотря на пережитые унижения, я решил никуда не уходить.

На Западе "Литературную газету" называют одним из самых лживых и изощренных советских изданий. Но

сказать о ней только это — значит не сказать ничего. Когда-то Николай Бердяев писал: "Чтобы понять ложь коммунизма, надо понять его правду".

Мне всегда было близко парадоксальное бердяевское мышление, помогающее понять в советской жизни многое, что до сих пор остается загадкой для Запада. Так вот, перефразируя Бердяева, вполне справедливо сказать: чтобы понять ложь "Литературной газеты", надо понять ее правду. А правда эта состояла в том, что впервые на страницах советской газеты вместо штампованных догм и истин появилось живое слово, живая полемика, живое столкновение взглядов, отрицаемое, казалось бы, всей системой советской идеологии.

Истина однозначна. Истина — это то, что рождается в стенах Центрального Комитета партии и что газеты призваны довести до сознания миллионных масс. Но вот появляется шестнадцатистраничная "Литературка", и выясняется, что истина может рождаться в споре, каких бы сложных проблем этот спор ни касался.

Дискуссия становится основным жанром "Литгазеты". Право на полемику имеют все: министр, адвокат, ученый, врач, — так же как и дискутировать можно почти обо всем: о проблемах управления, архитектуре современного города, о любви и сексе, о будущем нашей планеты, — обо всем, что волнует человека. Чтобы делать такую газету, разумеется, требовались отборные журналисты. И Сырокомский нашел их. Среди кого? Среди евреев... Начиная с 1967 года он пошел как бы со щупом по всем московским редакциям. Его не смущали фамилии: Агранович, Рубинов, Вельтман, Румер. Его не смущало, что ни одна из центральных газет не решалась их брать и многие из них работали в заупокойных редакциях, вроде "Вечерки" или областной газеты "Ленинское знамя". Он искал выдумщиков и фантазеров, самых

талантливых из всех кто был и сумел найти таких, ибо снял главное ограничение: "пятый пункт". И, они, евреи, услышавшие вдруг невозможное: "Пишите что хотите, но только чтобы это было интересно", сами добились невозможного — в условиях жесточайшей цензуры создали газету, которую увлеченно читали полтора миллиона советских интеллигентов.

Многие из них и сегодня работают в газете. Каждый день в половине одиннадцатого утра они входят в угловое здание на Самотеке и остаются в редакции до позднего вечера, до полуночи. Иные работают по 15 часов в сутки. За право работать в самой интересной газете евреям "Литературки" приходится недешево платить.

Но и сейчас для многих в СССР, даже для многих журналистов, остается загадкой: почему "Литературной газете" дозволено то, что запрещено другим? Почему ее доверили делать еврею Чаковскому и дали ему исключительное право набирать в газету таких же евреев, как он сам?

Объяснить все это — значит объяснить ложь "Литературной газеты", а я не спешу это делать, как не спешила жизнь разрушить последние мои иллюзии, связанные с "Литературкой".

В отделе науки, спецкором которого я стал, мне уже не нужно было каждую минуту ходить к руководству и согласовывать темы и авторов. Я более не был связан с графоманами и чиновниками от литературы. Передо мной открывалось новое поле деятельности.

Темы отдела науки, не связанные с живой жизнью, меня мало занимали, но я мог писать и о другом. У меня появилась возможность говорить с читателем — то, к чему я стремился столько лет и чего так и не добился в отделе информации.

Правда никогда не была для меня абстрактным понятием. Правдой было то, чем болело общество и с чем я так часто сталкивался в повседневной жизни. Вероятно, поэтому я и решил посвятить одну из первых полос проблемам здравоохранения. Говорить мне пришлось не своими устами. Журналисты "Литературки" обычно писали за других, но на фоне проблемы, которую я намеревался поднять, это обстоятельство выглядело не столь уж существенным.

Эту полосу я назвал "Кто вы, современный доктор?"— название, типичное для "Литературки", но содержание ее явно выходило за рамки заголовка. Полоса говорила не столько о докторе, сколько о больном, о простом советском больном, каких в стране было сотни тысяч, просиживающих в районных поликлиниках, валяющихся в коридорах больниц, страдающих от эпидемий и от вечной нехватки "койкомест". Обо всем этом "писал" профессор Виноградов. Его статья была главной на полосе. Рядом выступали главврач Боткинской больницы Лапченко и член-корреспондент Академии медицинских наук Тареев. У них были свои темы: плохая подготовка врачебных кадров и отсутствие у врача всякой заинтересованности в работе.

Полоса получилась острой и тревожной. Когда она была уже набрана и сверстана, меня пригласил член редколлегии по разделу внутренней жизни Александр Иванович Смирнов-Черкезов — один из старых работников "Литературки". 15 лет он провел в сталинских лагерях, был человеком прямым и честным.

— Вы знаете, Виктор Борисович, — сказал он, — у вас великолепный материал. Я, по совести, сам полжизни лечусь и знаю, что все это так. Больно признавать, но так...

В новом отделе это был мой первый успех, но радость была преждевременна. В понедельник, за полчаса до подписания газеты в печать, меня вызвал к себе Тер.

— Мой молодой друг, — нервно поднялся он из-за стола, — вы мне можете ответить на один вопрос: для чего вы подготовили эту полосу?

— То есть как для чего? — переспросил я.

— Нет, вы скажите, для чего? Чтобы облить грязью советское здравоохранение и поссорить "Литературную газету" с министром Петровским? Чаковский читал и был возмущен. Чернить проще всего. Это каждый дурак умеет. Вы вскройте одну проблему, но глубоко, чтобы можно было обсудить, подискутировать.

Полоса была разобрана, а Смирнову-Черкезову было указано на недостаточный контроль за подготовкой материалов отдела науки.

Вскоре вместо полосы "Кто вы, современный доктор?" появилась огромная статья все того же профессора Виноградова, и тему для нее подсказал все тот же мудрый Тер. Статья называлась: "Современный врач: универсал или специалист?" Материал печатался в порядке обсуждения, хотя никого не затрагивал и никого не критиковал.

Перед тем как подписать его, Тер снова вызвал меня и, с удовлетворением прошамкав губами, сказал:

— Вот теперь, мой молодой друг, совсем другое дело — серьезно, глубоко и, главное, видно, что хотим...

Я потерпел фиаско с медицинской полосой совсем не потому, что "Литературная газета" была против критики. Я просто нарушил "правила игры", которые никогда не произносились вслух, но существовали как непоколебимые законы деятельности редакции. Газета поднимала, казалось бы, общегосударственные проблемы, но из ее критических статей невозможно было сделать

никаких практических выводов и никогда нельзя было понять, кто виноват. То есть конкретные лица назывались: пора такому-то ведомству и такому-то министру подумать о решении такой-то проблемы. И в ответ в редакцию приходили ответы от ведомств и министров, что они признают выступление "Литгазеты" полезным и своевременным и уже думают над решением указанной проблемы и даже принимают для этого такие-то меры. Но на том все и кончалось.

Как-то отдел науки подготовил проблемную полосу "Ученая степень и степень учености". Сама шапка ее говорила о порочности действующей системы присуждения ученых степеней, которая не стимулировала продвижения в науке и открывала дорогу карьеристам и дилетантам. Редакция получила сотни писем читателей. Они приветствовали выступление "Литгазеты", требовали ликвидации протекционизма и семейственности в науке, критиковали Академию наук и ее президента Келдыша. Но когда Александр Иванович Смирнов-Черкезов поехал в ЦК посоветоваться, что делать с этими письмами, какие принять меры, ему ответили:

— Что делать? Послать в Комитет науки и техники, пусть товарищи рассмотрят, подумают...

Дискуссию предложили свернуть.

— Самое главное — вовремя остановиться, — пошутил один из сотрудников отдела пропаганды ЦК.

Всему этому я бы даже не удивлялся — цензура для меня была давно привычной вещью, если бы Чаковский и Сырокомский не требовали все новой критики и новых дискуссий, способных вовлечь сотни и тысячи читателей.

Почти на каждой планерке находился отдел, обращаясь к которому Сырокомский говорил:

— Что вы мне подсовываете всякую сухотку, на которую мы не получим ни одного отклика? Кому нужна

такая газета? Дайте что-нибудь почитать, какую-нибудь пищу для ума.

Подобные призывы вряд ли могли раздаваться в стенах "Правды" или "Известий". Это подкупало сотрудников, заставляло работать, не зная отдыха, и даже не замечать погромных статей против "Нового мира" и Солженицына. Но вот парадокс — в том, что, казалось бы, давало им право гордиться своей работой, что делало их издание столь популярным среди интеллигенции, как раз и заключалась ложь "Литературной газеты".

ГАЙД-ПАРК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Однажды в кабинете Чаковского состоялась встреча отделов науки и экономики с заместителем председателя Государственного комитета по труду и заработной плате Борисом Михайловичем Сухаревским.

Председателем этого Комитета был в то время некто Волков, типичный партийный аппаратчик, имеющий весьма отдаленное представление о проблемах экономики. Фактически все дела вел Сухаревский. Говорили даже, что без него Политбюро не принимает ни одного решения, касающегося экономики и заработной платы, и что он является негласным советником самых высокопоставленных лиц в государстве.

Вот такого человека "Литературная газета" и решила пригласить для того, чтобы он сделал критический обзор ее дискуссий по экономическим вопросам. Ввиду важности гостя помимо нас, сотрудников отдела науки и экономики, присутствовали Чаковский и Сырокомский.

Сухаревский сразу же избрал тон, какой обычно позволяют себе ответственные работники в узком кругу, где можно все вещи называть своими именами. Газета

делает нужное и полезное дело, но одна из ее дискуссий— "Инженер по горизонтали и вертикали" — вызывает у него невольное чувство протеста. Зачем писать о недостаточной оплате инженерного труда и сеять у читателя несбыточные надежды, если их невозможно осуществить?

— Поймите, друзья, у государства нет денег, нет!

И далее он продолжал:

— На днях меня пригласил Леонид Ильич, чтобы посоветоваться, каким категориям работников необходимо прежде всего повысить заработную плату. Я сказал, что в наиболее несправедливом положении находятся учителя. Так вы знаете, что ответил Леонид Ильич? "Насчет учителей, может быть, вы и правы, но на всех у нас сейчас нет денег и повышать зарплату будем малооплачиваемым, а учителя подождут". Так зачем же, я спрашиваю, разжигать нездоровые настроения и писать о том, чего мы не в силах выполнить?

Сухаревский кончил и окинул нас особым, не допускающим пререканий взглядом, каким он, вероятно, оглядывал своих подчиненных, когда возвращался из высших сфер и сообщал им нечто такое, что было известно ему одному. Впрочем, казалось, что и здравый смысл на его стороне: зачем в самом деле обещать то, что невозможно выполнить?

Но мы плохо знали Чаковского. Он взял слово вслед за Сухаревским, и одной только своей репликой, чем является "Литературная газета", тотчас же вознесся на десять голов выше нашего именитого гостя. И сам Сухаревский предстал перед нами тривиальным партийным догматиком рядом с философом Александром Борисовичем Чаковским.

Так вот, после выступления Сухаревского Чак сердечно поблагодарил его от нашего имени и сказал, что только по поводу одного момента позволит себе выска-

зать свое соображение — стоит нам или не стоит писать о зарплате инженеров. Чак закурил сигару и, одарив Сухаревского обворожительной улыбкой, которая появлялась на его лице-маске всякий раз, когда он чувствовал свое превосходство над собеседником, сказал:

— Видите ли, Борис Михайлович, вы совершенно правы, когда говорите, что мы обязаны считаться с возможностями государства и все мы, коммунисты, обязаны выполнять обещания, данные читателю. Но применительно к "Литературной газете" здесь есть одна чрезвычайно важная тонкость. Дело в том, что партия возложила на нас специфическую задачу, — и, погрузившись в синий сигарный дым, Чак продолжал: — Один раз в доверительной беседе, которая была у меня с помощником Леонида Ильича, он остроумно заметил: "Вы, — сказал он, — у нас необычная газета. Вы у нас вроде Гайд-Парка при социализме..." Ну, а кто бывал в Гайд-Парке,— все так же улыбаясь, развел руками Чаковский, — тот знает, что там каждый имеет право выступить, хотя правительству совсем не обязательно выполнять все, что предлагают в Гайд-Парке. Да, Борис Михайлович, мы, как говорится, все коммунисты и понимаем, что у государства сейчас нет достаточных средств, чтобы повысить заработную плату техническим специалистам, — лицо Чаковского стало серьезным, и на нем снова появилась нервная гримаса. — Но когда мы дискутируем проблему зарплаты — это не значит, что завтра же она должна быть повышена. Важно, чтобы читатель знал, что партия думает над этой проблемой, думает, как ее решить... и улучшить благосостояние народа.

Лицо Чаковского снова расплылось в улыбке, но сидящий рядом Сырокомский зло сверкнул линзами очков в его сторону, и, когда наш гость стал прощаться, он не выдержал и при всех сказал:

— Совершенно с вами не согласен,что мы — Гайд-Парк. Чушь это! Газета выступила по стольким принципиальным вопросам, с ней считаются министры...

Чаковский ничего не ответил, и с тех пор я уже никогда не слышал из его уст слов о Гайд-Парке, но сам я уже не мог их забыть.

Странная получилась вещь: то, о чем я лишь интуитивно догадывался и не в силах был выразить, с поразительной точностью высказал сам Чаковский.

Да, это была ложь, но не примитивная, тривиальная ложь "Правды", "Труда" или "Советских профсоюзов", призывающих своих читателей развивать социалистическое соревнование и отдавать все силы очередной пятилетке. Это была ложь высшего свойства — не для масс, для интеллигентного читателя.

Из номера в номер "Литгазета" вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-Парка, нисколько не пугающая власти, зато уводящая читателя от реальных проблем советского общества. И сама личность Чаковского, администратора этого Гайд-Парка, была едва ли не самым полным и гармоничным его воплощением.

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

В наш прагматический век все подвижнее становятся нравственные критерии. И более всего это относится к советскому обществу, где уже ничто не существует как самоценность: ни ум, ни талант, ни совесть человека... Оттого и не хочу я при определении личности Чаковского пользоваться "обветшалыми" моральными категориями. Мне кажется, что в нем очень мало осталось от человека в привычном, традиционном смысле слова

(разве только невыпускаемая изо рта сигара и нервный тик на лице). Он даже и внешне, со своими быстрыми машинными движениями, чем-то напоминал один из тех самых компьютеров, о которых так много писала "Литгазета", но которые все-таки выглядели жалкими и глупыми роботами рядом с Александром Борисовичем Чаковским.

Подобно компьютеру, он никогда не выдавал неправильных решений, он всегда точно знал, где, когда и о чем нужно сказать.

На партийных собраниях, где почти всегда присутствовал представитель отдела пропаганды, он редко увлекался славословиями в адрес членов Политбюро. Но я не помню случая, чтобы он забыл упомянуть о каждодневной дружеской помощи товарищей из аппарата ЦК.

Политбюро было далеко, а товарищи из ЦК рядом, в президиуме, и компьютер-Чаковский великолепно знал, сколь важно, чтобы они всегда были им довольны. Вообще к "товарищам из аппарата" Александр Борисович относился с подлинным благоговением, порой переходящим в патологический страх.

Однажды на торжественном вечере в Центральном доме литераторов, посвященном 40-летию "Литературной газеты", Чаковский решил поднять тост за коллектив редакции. "Литературка" была награждена орденом Ленина, что, естественно, доставило Александру Борисовичу несказанную радость. В этот вечер он много выпил и, хотя сидел в окружении почти всего отдела пропаганды ЦК, позволил себе расслабиться. Он стал говорить о самоотверженности и бескорыстии журналистов "Литературки" и даже решился назвать фамилии некоторых из них: Вельтман, Агранович, Рубинов... И в этот миг, по-видимому, невидимые биотоки, исходящие от "това-

рищей из ЦК", дошли до Александра Борисовича, и он мастерски, как это мог делать только он один, перестроился:

— Разумеется, мы, журналисты, немало сделали, но положа руку на сердце спросим себя: смогли бы мы этого добиться, если бы каждый день, каждый час нам не помогали товарищи из отдела пропаганды?

И, забыв вдруг о своем порыве воздать должное коллективу, Александр Борисович предложил выпить за тех, благодаря кому "Литературная газета" стала любимой газетой советской интеллигенции. Зал был пьян, и никто, кажется, не заметил случившейся неловкости. Все захлопали, и товарищи из отдела пропаганды тоже захлопали, хотя и не так громко, как все остальные, но достаточно благосклонно, чтобы Александр Борисович мог подойти к одному из них и в знак дружбы "Литгазеты" и ЦК при всех с ним расцеловаться.

Чаковского невозможно было поставить в тупик, его реакция была мгновенной, и в самых щекотливых ситуациях, где, казалось, ему уже нечего было ответить, он умел так повернуть спор, что оппонент его сам вдруг оказывался в тупике. Если можно говорить о недосягаемых вершинах в области демагогии, то для Александра Борисовича таких вершин вообще не существовало.

Однажды на редколлегии произошел беспрецедентный случай, когда попытался взбунтоваться заведующий отделом рецензирования Соломон Смоляницкий. То есть это был, конечно, своеобразный бунт. Просто Смоляницкий выступил против замалчивания "Литературной газетой" "Нового мира". У "Нового мира" столько читателей, а мы, сказал Смоляницкий, без конца пишем о "Нашем современнике" и "Молодой гвардии", которых никто не читает. На редколлегии присутствовал кто-то из секретарей Союза писателей, и уже по одному этому

Чаковский не мог смолчать. Однако он и не мог отрицать популярности "Нового мира" и потому повернул разговор самым неожиданным образом.

— При чем тут количество читателей, Соломон Владимирович? — сказал он. — Следуя вашей логике, можно дойти до какой угодно чуши. Например, если я вам скажу, что в "Литгазете" большее число сотрудников, чем в "Труде", слушает "Голос Америки" и "Би-Би-Си", что вы мне ответите? Что в нашей редакции больше антисоветчиков? Хотя ребенку ясно, что если и больше слушают, то причина совсем в другом: в "Литературной газете" просто работают интеллигентные люди, а интеллигенции всегда было присуще стремление понять жизнь в ее противоречиях, и поэтому вполне очевидно, что передачи западных радиостанций для нее прежде всего материал для анализа и более углубленного познания западной действительности.

И совсем другим был Александр Борисович на редакционных вечерах. Собирались обычно в его кабинете, и он первый поднимал тост и обязательно при этом весело острил. Однажды он задержался в ЦК и опоздал к началу вечера. Все уже начали пить, но севший за общий стол Александр Борисович ничуть не обиделся. Он поднялся с бокалом шампанского и сказал, что сегодняшний вечер явился для него откровением.

— Я уже давно убедился, что работать без главного редактора вы научились. — Александр Борисович намекал на свои полугодовые отсутствия в редакции, когда он сидел в Переделкино и писал свою нескончаемую "Блокаду". — Но сегодня я понял также, что вы великолепно можете без меня отдыхать.

— Александр Борисович, как всегда, режет правду-матку, — не преминул заметить пьяный Сазонов-Резников.

— Можете считать себя уволенным, Резников! — весело крикнул Сырокомский (он на вечерах неизменно шутил о том, кого намерен уволить).

После застолья обычно шли в зал, и Александр Борисович усаживался за рояль и исполнял "Фрейлехс". Он играл, а кругом танцевали, по-еврейски, обняв кончиками пальцев лацканы пиджаков, словно в эти минуты хотели забыть обо всем — и о Солженицыне, которого считали гениальным и, не прекращая, травили со страниц "Литгазеты", и о событиях в Чехословакии, которыми восхищались и с тех же страниц предавали анафеме, и о самом Александре Борисовиче, который сейчас так великолепно исполнял "Фрейлехс", а завтра снова превратится в грозного и неприступного Чака.

ГОРЕЧЬ СВОБОДЫ

Я вовсе не хочу представить журналистов "Литературки" безнравственными служителями "Гайд-Парка", взявшими на себя миссию уводить читателей от назревших проблем России. Напротив, они искренне верили (и, думаю, по сей день верят), что честно служат своей стране. Так же, как в это верил я сам, пока Чаковский не помог мне понять, какая роль возложена партией на меня и моих коллег.

И все, что казалось несообразным, встало на свои места. И более не казалось странным, отчего "Литературной газете", единственной в стране, разрешено было принимать евреев. Ведь не нуждалась, например, в них "Правда". Для того чтобы писать о том, о чем писала "Правда", не требовалось ни особого ума, ни журналистского таланта. Но еврейский ум и талант требовались для того, чтобы уводить читателя в мир социальных ил-

люзий. Это была изощренная задача, требовавшая изощренного исполнения. Этим и занимались евреи "Литературки". Верили, что творят добро, и делали зло. В этом была их драма. В этом была и моя личная драма, которую я не сразу постиг. Но, постигнув, уже не мог оставаться самим собой.

Подобно всем смертным, я пытался найти в своей жизни точку опоры. Иллюзии сменялись разочарованиями и снова иллюзиями. В этом карабкании, в этом беспрестанном искании сказывался, по-видимому, мой еврейский характер с его бродильными генами Менахем-Мендла.

Казалось, в "Литературной газете" судьба приблизила меня к идеалу, но она подвела меня лишь к крушению. Взобравшись на вершину, я вдруг понял, насколько бессмысленным и бесплодным был мой путь. Вершиной оказался "Гайд-Парк при социализме", жалкая роль прислужника партийной бюрократии. Первореальности жизни находились на других дорогах. Но чтобы выйти на них, надо было свести счеты с прошлым.

Я часто слышал вопрос: когда вы решили уехать и что именно побудило вас к этому шагу? В этих случаях обычно ссылаются на отсутствие в России свободы. Говорят о стремлении жить со своим народом. Появляется рациональная схема, в которую укладывается любая жизнь и любая судьба. Но путь от несвободы к свободе куда более сложен.

В конце концов, человек не создан для тюрьмы. Человек выходит из тюрьмы в надежде, что никогда туда не вернется. Вероятно, это и есть ощущение свободы, о котором великолепно писал Сент-Экзюпери, ощущение ветра, солнца и звезд на небе — всего, что было дано человеку задолго до того, как он изобрел тюрьмы. Но ощущение свободы — это совсем не обязательно ветер,

солнце и звезды на небе. В какой-то момент о них даже можно забыть вовсе. Так было со мной, когда, уволенный с работы, исключенный из партии, я в последний раз выходил из "Литературной газеты" и думал, как это все-таки прекрасно больше никогда не являться на партийные собрания, не писать о новаторах коммунистического труда, не голосовать за блок коммунистов и беспартийных...

Это были простые, будничные вещи, среди которых я жил, и простые, будничные обязанности, которые я выполнял многие годы. Я говорил себе: "Так есть и так было всегда. На что-то человек обязан закрывать глаза. Без этого невозможно прожить жизнь..." Более глубокими мыслями о нравственной сути бытия я старался себя не обременять. Так было легче. К тому же, оставаясь в рабстве, бессмысленно было его обличать.

И только решившись порвать с прошлым, я мог позволить себе размышлять о вещах, о которых старался раньше не думать, но которые как внутренний укор жили во мне самом и саднили меня изнутри.

Почему-то вспомнил день 21 августа, когда советские войска вошли в Чехословакию. Новость эту я услышал по радио в шесть утра и, оглушенный ею, не мог ничего делать, не знал, куда себя деть.

Выпив чашку кофе, я вышел на улицу. До начала работы оставалась масса времени, и, чтобы его как-то убить, зашел в парикмахерскую на Ленинградском проспекте. Жизнерадостная толстуха-парикмахерша, ловко орудуя ножницами вокруг моей головы, комментировала напару со своей соседкой "Последние известия":

— До чего же подлые, скажу тебе, эти чехи. Русский Иван их и кормил, и от немца спас, а они нож ему в спину, к ФРГ хотели отойти...

Вечером в редакции состоялось закрытое партсобрание. Выступал Олег Николаевич Прудков. Его землистое, одутловатое лицо ничего не выражало (рассказывали, что в последнее время на почве семейных дел у Прудкова начались запои) . Он говорил, что, в связи с происками правых сил в Чехословакии, советское правительство вынуждено было принять трудное решение... Это решение было продиктовано нашим интернациональным долгом перед коммунистической партией и народом братской Чехословакии. Он говорил, по обыкновению изящно грассируя, длинными, округлыми фразами. До конца я его выступление так и не мог дослушать и, сославшись на какое-то дело, ушел с собрания.

Мне казалось, что я обладаю способностью отдалять от себя неприятные вещи и неприятные мысли. Позже я понял, что и это была лишь одна из иллюзий. Жизнь сквозь причудливые стечения обстоятельств возвращала меня к тому, от чего я так стремился уйти.

Спустя более года после событий в Чехословакии я вдруг снова доподлинно увидел все, что там было в день 21 августа. Днем в мой кабинет (я сидел тогда уже на шестом этаже, и дверь из кабинета выходила в кинозал редакции) постучал завхоз и, явно испытывая неловкость, спросил, не собираюсь ли я куда-нибудь выходить. Если собираюсь, то лучше это сделать сейчас. Дело в том, что в кинозале состоится закрытый просмотр кинофильма, специально для редактората, для Чаковского, его замов и ответственного секретаря. И руководство просило, чтобы никого лишнего не было. Как и следовало ожидать, в зале оказались не только Александр Борисович и его замы — удалось посмотреть этот фильм и мне. Это была лента, снятая западными операторами, и называлась она "Дубчек в Москве".

Первые кадры показывали, как советские войска входили в Прагу, нет, не входили — вламывались в бунтующую и ощутившую ветер свободы Прагу. Затем показали Дубчека, бородатого, истерзанного, по-видимому, только что привезенного в Кремль из своего заточения в Закарпатье. Он сидел напротив Брежнева и гневно стучал кулаком по столу. А Брежнев молчал и, барабаня пальцами по столу, непонимающе пожимал плечами.

Чак и его замы сидели ко мне спиной, и я не мог видеть, как они воспринимали эту картину. Впрочем, как они могли ее воспринимать, если в те дни "Литературная газета" за большие заслуги в области коммунистического воспитания трудящихся была удостоена ордена Ленина, а незадолго до этого посол Советского Союза в Чехословакии Червоненко в своем личном докладе Брежневу отметил принципиально правильную, партийную позицию "Литературной газеты" во время событий в Чехословакии!

Советские танки топтали землю Чехословакии, а в "Литературной газете" жизнь шла своим чередом. После фильма я отправился домой пешком и на Маяковской, у входа в ресторан "Пекин", случайно увидел Прудкова и Долматовскую. До этого я никогда их не видел вместе. Они вышли из такси и, легко взбежав по ступенькам, скрылись в залитом светом зале ресторана. Если мне не изменяет память, это было в один из первых дней после "реорганизации" отдела информации.

Прошлое всплывало без всякой последовательности, вопреки логике и ходу времени. Вспомнил, как, будучи в плавании на Банке Джорджес, я узнал о начале Шестидневной войны. Как и полагалось в подобных случаях, помполит каждый вечер собирал экипаж на политинформацию. Он говорил теми же словами, что вещало из Москвы судовое радио, а именно, что израильские захват-

чики стремятся к аннексии чужих территорий и к порабощению соседних арабских народов. Потом выходили на палубу, и я снова видел усталые, равнодушные лица матросов. Однажды один из них — на судне его звали Купо Купыч, — едва усмехнувшись, прокомментировал события на Ближнем Востоке:

— А все говорят, что еврей воевать не умеет!

Вот так я услышал о Шестидневной войне.

Позже я читал об Израиле в "Литературной газете".

О нем едва ли не каждый день писали "Правда", "Известия", "Труд", но у "Гайд-Парка при социализме" и к этой теме был свой подход.

Время от времени ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман и фотокорреспондент Михаил Трахман выезжали в Вену, чтобы интервьюировать возвращенцев из Израиля. Выезжали, правда, не одни, а в неизменной компании человека, который подписывал вместе с ними материалы как "журналист Гудков". Кто был в действительности "журналист Гудков", знали даже не все в редакции. В форме он никогда не ходил и в газете появлялся редко. Зато, по рассказам Горбунова-Гиндельмана, в Вене проявлял активность необыкновенную. Перед тем как устраивать интервью, он собирал в специальном помещении обитателей улицы Йордим*, так называли здесь улицу, где, уповая на милость властей СССР, влачили жалкое существование возвращенцы из Израиля. Так вот их, голодных, опустившихся, застрявших между двумя мирами, и собирал "журналист Гудков" и торжественным голосом зачитывал решение советского правительства — позволить семье такой-то вернуться на Родину, в СССР. Одной — из десятков других. Другим

*Йордим (иврит) — жители Израиля, покинувшие страну, в данном случае — желающие вернуться в СССР.

оставлялась надежда и конечно же "право" дать интервью корреспондентам "Литературной газеты".

Из Вены наши спецкоры возвращались всякий раз гордые исполненной миссией. В редакции о виденном предпочитали не распространяться. И лишь в ресторане Дома журналиста, куда оба любили наведываться по вечерам, позволяли себе "расслабиться".

Особенно они любили рассказывать о самой Вене и венских кабаре (куда один или два раза отважились зайти). Об Израиле даже и в Доме журналиста предпочитали помалкивать. Зато в своих репортажах не жалели красок. Точнее даже не они, а обитатели улицы Йордим, которые отрабатывали таким образом право вернуться обратно в Россию. Как следовало из этих репортажей, не было на нашей планете более жестокой, равнодушной и бескультурной страны, чем Израиль.

Репортажи из Вены публиковались под сенсационной шапкой "Правда о земле обетованной". На летучках всякий раз подчеркивалось, что это важные идеологические акции "Литературной газеты", и материалы неизменно признавались лучшими в номере.

Но сколько я ни размышляю о прошлом, я и сегодня не в состоянии ответить на вопрос: что впервые натолкнуло меня на мысль уехать? События в Чехословакии? Шестидневная война? "Литературка" с Чаковским и нашим главным моралистом Прудковым?

Как некогда остроумно подметил горбун Чернецкий, все со всем связано. В мире, из которого я ушел, не было чего-то более и чего-то менее отталкивающего. Одно дополняло другое. В чем-то этот мир был даже целен и гармоничен.

Это была гармония призраков, несуществующих идолов, с их феноменальной способностью превращать миллионы людей в тупых и оболванненых роботов.

И если вы большую часть жизни служили этим идолам лжи, то вам не просто с ними расстаться. Рабство вас продолжает цепко держать даже тогда, когда разумом вы решили начать все сначала. Начинается время мучительного раздвоения и жестокой внутренней борьбы, пока не происходит последний толчок, навсегда определяющий вашу судьбу. И вы говорите себе: "Более так жить невозможно, пусть будет что будет, но только не эта ничтожная рабская жизнь".

Так или примерно так было и у меня в "Литературной газете". Были мучительные колебания, был голос разума, давно говоривший, что жизнь, подобная той, что я вел, лишена всякого смысла, была, наконец, последняя капля, перевесившая чашу весов...

Эта последняя капля опять же связана с моим еврейством. Долгие годы я надеялся на лучшее, но вот наступил момент, когда я почти физически почувствовал: где бы я ни оказался, как бы в жизни ни преуспел, я все равно останусь евреем, изгоем, которому в лучшем случае уготована участь обоснователя той самой несвободы, которая давила меня всю жизнь.

Попробую объяснить, как все было, и для этого следует сказать несколько слов о моей еврейской фамилии. В отношении таких, как я, в советской печати существовал неписаный закон: еврейские фамилии журналистов не должны появляться на страницах газет. Их обладателям надлежало брать псевдонимы. Я никогда не считал, что моя фамилия на газетной полосе звучала изящнее, чем любая другая. Возможно, при других обстоятельствах я бы и сам счел нужным найти себе литературный псевдоним. Но, наверное, оттого, что еще 20 лет назад, когда я написал первый фельетон в "Труде", мне недвусмысленно предложили взять псевдоним, оттого, что всегда,

когда залеживалась моя статья, я не мог не думать, что виной этому опять же моя еврейская фамилия, — от всего этого еще в годы молодости во мне родилось чувство протеста, с которым я никогда не мог справиться. Всякий раз, когда я подписывал статьи не своей фамилией, я не мог избавиться от чувства, что надо мной совершено насилие и в чем-то меня заставляют не быть самим собой.

В "Литературной газете" я был единственным из евреев, позволявших себе "жить" без псевдонима. У Чаковского и Сырокомского это вызывало глухое недовольство. Я нарушал и это правило игры, согласно которому евреев Гайд-Парка надлежало тщательно скрывать от глаз читателя.

И почти всегда, когда моя фамилия должна была появиться на страницах газеты, против нее начиналась тайная война. Если я брал интервью, то по какой-то странной забывчивости верстальщика, она вдруг исчезала с полосы. А когда это сделать было невозможно, ее старались набрать мелким шрифтом и перенести вниз, чтобы трудно было заметить. Ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман делал это обычно с циничной улыбкой, словно бы нехотя и у меня самого ища понимания в создавшейся щекотливой ситуации:

— Я надеюсь, старик, ты не заподозришь меня в антисемитизме. Сам знаешь, рад бы в рай, да грехи не пускают.

Он старался говорить шутливыми полунамеками, из которых я сам должен был сделать выводы.

И чем острее становился мой конфликт с руководителями газеты, тем безжалостнее изгонялась с ее страниц моя еврейская фамилия. Последний раз она появилась, когда я уже понимал, какая роль отведена "Литературной газете". Это был мой последний бунт, последний экспе-

римент, которым я пытался сам себе доказать, что еще не все потеряно и что если собраться с силами, то и в Гайд-Парке можно кое-что сделать.

В каком-то смысле это была одна из самых советских, самых партийных статей, которые я когда-либо писал. Разумеется, при условии, если бы партия и власти стремились выполнять свои собственные декларации.

Я отстаивал неоднократно утверждаемую со страниц "Правды" мысль, что в советском обществе все должны быть равны перед законом, даже те, кто в прошлом совершил преступление. О них и шла речь в моей статье. Точнее, это была даже не статья, а репортаж. Репортаж о "воровской сходке", на которую собрались бывшие преступники и говорили о том, что мешало им начать честную жизнь. И прежде всего они говорили о так называемом "Положении о паспортах", согласно которому люди, отбывшие наказание, лишались права возвращаться в города, где они жили раньше. Я писал об уголовниках, но имел в виду и других, кто был брошен в тюрьму за убеждения и никогда не мог вернуться домой.

По всей стране действовали так называемые "стокилометровки", которые превращали сотни тысяч людей в изгоев. Их не брали на работу. Их не прописывали по старому месту жительства, и положение их было трагичным.

Когда прочел материал Тертерян, он тотчас послал меня за визой в Министерство внутренних дел. Проблема была давно назревшей. Статистика самого Министерства недвусмысленно показывала, что "Положение о паспортах" вызывает массовые рецидивы преступлений. Возможно, поэтому материал решили показать лично министру внутренних дел Щелокову, и он лично завизировал его. Теперь даже вечный перестраховщик Тер мог пропус-

тить статью со спокойной душой. Разумеется, он не мог представить, что не пройдет и нескольких дней после опубликования статьи и его пригласят в административный отдел ЦК для того, чтобы он дал объяснение по поводу провокационной статьи Перельмана "Человек вернулся".

Я до сих пор не знаю, что более возмутило замзава административным отделом ЦК КПСС Альберта Иванова, поднявшего это дело, — то ли, что "Литгазета" вышла за рамки дозволенного ей и вторглась в сферу, столь бдительно охраняемую партийными аппаратчиками, то ли, что это позволил себе не кто иной, как еврей Перельман. Вероятно, его возмутило и то, и другое. По его указанию в редакции началось расследование, как статья появилась в печати. Меня поочередно вызывали к себе то Прудков,то его заместитель, кадровичка Галка Сухарева. Прудков, которому Сырокомский всегда поручал вести подобного рода дела, сидел, барственно развалившись в кресле, и с ничего не выражающим лицом допрашивал меня:

— Известно ли вам, Виктор Борисович, что в Центральном Комитете партии решили серьезно разобраться с вашей статьей? Интересно знать, кто подсказал вам идею выступить именно с этим материалом?

Галка Сухарева придерживалась, как всегда, чисто товарищеской нотки:

— Ну и наделал же ты, Витька, делов. Знаешь, как Сыр рвет и мечет? Вечно, говорит, у нас с этим Перельманом неприятности.

Неожиданно проснулся мой "старый друг" Серебряков и заявил, что еще в мою бытность заведующим отделом информации в моих письмах собкорам национальных республик проскальзывали провокационные нотки. Я же ловил себя на странном чувстве: у меня не бы-

ло ни малейшего страха перед нависшими неприятностями, а был лишь спортивный интерес — чем могло кончиться это дело, в котором я не только прав по существу, но на моей стороне также Министерство внутренних дел.

Дело кончилось тем, что собралось закрытое заседание секретариата ЦК КПСС, на котором строго предупредили Чаковского и просто предупредили министра внутренних дел Щелокова за то, что проявил беспечность в отношении идеологически вредного выступления "Литературной газеты". Но когда это решение обсуждалось на очередном совещании редакторов газет в ЦК партии, то выступавший по этому вопросу Альберт Иванов ни словом не обмолвился ни о Чаковском, ни о Щелокове. Почти все выступление он посвятил провокационной статье Перельмана, который пытался посеять у читателя недоверие к советской конституции и к советским законам.

Впрочем, в отношении последнего у Альберта Ивановича Иванова, очевидно, нашлись бы другие слова, если бы он хоть на миг мог представить себе, что автор статьи через некоторое время окажется в рядах сионистов и "антисоветчиков", с которыми ему опять же придется бороться, но уже с применением других средств. Вероятно, по-иному вел бы себя на заседании ЦК и министр внутренних дел Щелоков, пытавшийся отстаивать статью. И уж наверняка знал бы, как ему поступить главный редактор "Литгазеты" Александр Борисович Чаковский...

Вскоре после этой истории я заболел. Но думаю, что и болезнь моя вряд ли могла остановить Чаковского. Он нашел бы способ, как от меня избавиться, не дожидаясь весны семьдесят второго года, которая принесла ему столько неприятностей.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

8 марта я еще был членом партии и специальным корреспондентом "Литературной газеты". И Алексей Иванович, швейцар Московского дома журналиста, уважительно открывал передо мной дверь. 12 марта, то есть спустя четыре дня, я стал никем...

И началось все в маленьком почтовом отделении, расположенном напротив нашего дома, в переулке Марины Расковой. Отсюда я решил послать в газету заявление и, как требовал установленный порядок, попросить характеристику для выезда на постоянное жительство в Израиль. 8 марта было пятницей, 9 и 10-е — выходные дни. 11-го мое письмо придет в редакцию.

Я столько раз все обдумал и передумал, что, казалось, уже нечего опасаться. Я знал, что после моего обращения в партбюро за характеристикой я не проживу в газете и дня, что буду тотчас исключен из партии и надолго останусь без работы.

Я пытался представить, как мое заявление получит Прудков — под его руководством в газете велась антиизраильская кампания, — как он будет докладывать о случившемся Чаковскому, как Чаковский тотчас поедет в ЦК, чтобы, в свою очередь, доложить о происшедшем там, — и, сколько я ни рисовал себе этих сцен, до конца я их представить не мог. Слишком противоестественны они были для всей жизни "Литературной газеты", которой партия отвела "почетную роль" "Гайд-Парка при социализме".

О своих планах я никому не рассказывал и только накануне поделился со своим приятелем Кленовым, с которым встретился по этому поводу. Он долго смотрел на меня оторопевшим взглядом и без конца повторял:

— Безумство, какое безумство!

Потом начал меня уговаривать уйти из газеты, не доводя дела до скандала. Он пытался мне объяснить, какому риску я себя подвергаю и какие страшные последствия могут наступить.

Весь вопрос состоял в том, откуда подать заявление — из газеты, из "логова" (как я сам себе говорил), или предварительно уволиться из редакции. Последнее было, конечно, безопаснее.

Но я решил подать заявление из газеты, считая необходимым открыто порвать с ее линией. Я понимал, что в ЦК это будет расценено как политический шаг, и шел на это.

Ситуация была настолько острой, что ждать приходилось всего. Меня не покидало ощущение, что если я сам приду к Прудкову, то он позже может отказаться от услышанного, и меня уволят прежде, чем я сделаю первый шаг. Поэтому я и решил послать заявление по почте с письменным уведомлением о его вручении.

Когда утром в понедельник я поднялся на пятый этаж в свой кабинет, то работать уже не мог. Сидел в кресле, уставившись в телефонный аппарат, ждал, когда наконец меня вызовут к начальству. По моим расчетам, заявление должно было прийти в редакцию с утренней почтой, и, конечно, Прудков тотчас пригласит меня к себе. Но телефон молчал, и я после бессонной ночи задремал в кресле.

Когда раздался звонок, со сна я даже не узнал голос секретарши Прудкова, срочно вызывавшей меня к Олегу Николаевичу. Я закурил и облегченно вздохнул — через несколько минут все кончится.

Спускаясь на четвертый этаж к Прудкову, я знал уже слова, которые скажу. Но события развернулись несколь-

ко неожиданно,и, как это бывает, в самый драматический момент возникла комическая ситуация.

С утренней почтой мое заявление не пришло в газету, и вызвал меня Прудков совсем не по поводу Израиля, а хотел дать какое-то партийное поручение. А мне казалось, что он лукавит и только делает вид, что не получил письма, для того, чтобы выиграть время. Поэтому я сам решил ускорить события и спросил:

— Олег Николаевич, вы получили мое заявление?

— Заявление? Какое заявление?

"Актер", — подумал я и, набрав воздуха, произнес:

— В котором прошу вас дать характеристику для выезда в Израиль...

И тут, глядя на Прудкова, я вдруг понял, что он действительно ничего не получал и ни о чем не подозревает, и вообще я не знал, что станется с ним на моих глазах. Холеное его лицо, мгновенно сделавшееся землисто-серого цвета, перекосила болезненная гримаса. Она несколько минут не сходила с его лица. Наконец он спросил:

— А вы уверены, что вас отпустят? Ведь не всех, я слышал, отпускают...

Вопрос этот мне тогда показался глупейшим: какое, собственно, его, Прудкова, дело — отпустят меня или не отпустят. Только позже, когда я стал получать отказ за отказом, а сотрудники КГБ хватали меня на улице, выключали мой телефон, устраивали облавы, до меня стал доходить зловещий смысл этого вопроса.

Между тем наутро меня вызвал к себе Сырокомский и сказал, что за последнее время я резко ослабил работу, стал прогуливать, материалы мои неинтересны...

Я попробовал возражать, но Сыр сидел, уставившись в стол и не удостаивая меня взглядом.

— Через два часа заседание редколлегии, — сказал он.— Прошу быть. Впрочем, можете не приходить. Можете уже сейчас считать себя уволенным!

Я, кажется, успел заметить, что это беззаконие — меня увольняют за желание уехать в Израиль. Сырокомский резанул меня линзами очков и, криво усмехнувшись, сказал, что он меня больше не задерживает.

Уволили меня действительно через два часа — за систематические нарушения трудовой дисциплины, за прогулы и несоответствие исполняемой должности.

Вечером должно было разбираться мое партийное дело. Самого Чаковского не было. В его огромном кабинете за длинным "т-образным" столом собрались члены партбюро — их было, кажется, человек девять или десять. Напротив меня расположился Серебряков. Чуть поодаль — Галка Сухарева, а подле меня — редактор отдела братских литератур Ахияр Хакимов. Все сидели с каменными, ничего не выражающими лицами. С такими лицами, вероятно, члены особых совещаний судили в 37 году "врагов народа".

Войдя в кабинет, я пытался понять, как пойдет заседание. Неужели все они, считавшие себя элитой интеллигенции, уподобятся тривиальным крикливым демагогам и, словно по команде, начнут трубить о предательстве и измене Родине.

Но я тотчас понял, что меня ждет не обычное заседание. Начало положил Константин Серебряков. Он спросил, в какую партию я намерен вступить в Израиле. Еще перед заседанием я решил, что не позволю себе лгать ни в чем.

— В какую партию буду вступать? —переспросил я, подыскивая, по возможности, наиболее точный ответ. — Не знаю, в какую партию. Приеду, познакомлюсь со страной и тогда решу...

— Но позвольте, Виктор Борисович, в Израиле есть только одна последовательно марксистская, ленинская партия — это коммунистическая партия, значит, вы хотите порвать с марксизмом?

— Скажите, к кому из родственников вы едете? — последовал следующий вопрос.

Вмешался Сырокомский.

— Я думаю, товарищи, что у Виктора Борисовича в Израиле единственный родственник — радиостанция "Голос Израиля".

Вслед за этой репликой снова пошли вопросы, один за другим, и, что было странным, в большинстве своем они вроде бы и не относились к повестке дня.

Галка Сухарева вдруг стала расспрашивать меня, над какими статьями я в последнее время работал, какую читал литературу, в каких научных учреждениях бывал. Я спокойно отвечал, не в силах уловить тайного смысла этого вдруг обуявшего ее любопытства. Ахияр Хакимов, которого вообще никогда не было слышно, спросил, сколько времени я болел и в какие газеты за это время писал.

Никто не повышал голоса. Говорили пристойно. Казалось, члены партбюро только и озабочены тем, чтобы узнать все, что им необходимо, и отпустить меня с Богом в мой Израиль.

И только когда начались прения, я стал кое-что понимать. Первым выступил Сырокомский. Он сказал, что не далее как утром, у него в кабинете, я проявил себя как законченный антисоветчик. Вторя антикоммунистическому, сионистскому охвостью, я заявил, что меня увольняют за мое желание уехать в Израиль, когда всем ясно, что меня увольняют за плохую работу.

В прениях выступали кратко и по-деловому. Вначале каждый мне давал характеристику. Затем вносились

предложения. Об исключении из партии никто не говорил — это подразумевалось. Предложения были иного свойства, и, когда их начали вносить, я понял, что скрывалось за "невинными" вопросами, которыми меня забрасывали члены политбюро.

Галка Сухарева, выспрашивавшая, в каких научных учреждениях я бывал, все тем же миролюбивым голосом предложила вписать мне в характеристику, что по роду деятельности я имел доступ к государственным секретам.

— Но это же ложь, — не выдержал я.

— Ложь? — возмутился Сырокомский. — Все советские журналисты имеют доступ к государственным секретам.

Затем стали поступать следующие предложения, столь же краткие и деловые. Ахияр Хакимов, интересовавшийся, куда и какие статьи я написал во время болезни, сказал, что во время болезни полагается болеть, а я использовал больничный лист в корыстных целях. Он предложил обратиться к прокурору и от имени редакционного коллектива потребовать привлечь меня к суду за... мошенничество.

— Но в чем же мошенничество? — снова не выдержал я.

— А в том, что вы не наш человек! — кажется, впервые за все заседание повысил голос Хакимов.

В тот же вечер по редакции распространился слух, что по косвенным каналам я был связан с английской разведкой. Поводом было сообщение "Би-Би-Си", что специальный корреспондент "Литературной газеты" возбудил ходатайство о выезде в Израиль.

В редакции в этот день со мной никто не здоровался. Никто не прощался. Люди, с которыми я работал столько лет, просто не замечали меня. Да и можно ли было

их обвинить в том, что они опасались иметь дело с человеком, работавшим на английскую разведку.

Выйдя из редакции на улицу, я несколько раз подряд оглянулся. Мне все казалось, что за мной кто-то идет. Но нет, никто не шел. Москва жила своей шумной вечерней жизнью, и никому не было дела до того, что произошло в этот вечер в стенах "Литературной газеты".

Утром, впервые за много лет, я не должен был никуда спешить. Мог целый день валяться на кровати, мог сколько влезет бродить по квартире, мог уехать Бог весть куда...

После завтрака решил позвонить Кленову. Я поднял телефонную трубку и услышал треск, затем долгое, натужное гудение — казалось, кто-то тайно прокрался в мой аппарат, чтобы отныне и навсегда стать свидетелем моей жизни.

Кленов, которому я звонил, оказался вдруг очень занятым и сказал, что через несколько минут позвонит мне сам. Разговаривал он странным, смущенным тоном. Я позвонил другому своему приятелю. Он сказал, что болен, и так же, как Кленов, быстро свернул разговор. Мир, в котором я прожил столько лет, явно опасался поддерживать со мной отношения.

Я не знал, куда себя деть, и позвонил в "Профиздат", чтобы выяснить, когда будет сигнальный экземпляр моей новой книги. Но и редактора мой звонок привел в странное смущение.

— Видите ли, — сказала эта всегда симпатизировавшая мне женщина, — вашу книгу час назад сняли с производства...

Я хотел тут же звонить главному редактору, но, подняв трубку и услышав уже знакомое мне натужное гудение, вдруг понял, что это бессмысленно — куда звонить, на кого жаловаться?..

В квартире стояла мертвая тишина. Телефон молча́л. Он молчал день или даже два, пока наконец не позвонила мама.

— Как это ты решилась? — мрачно пошутил я.

— А что? Я мать! — старалась она втолковать кому-то в трубку. — Кто мне может запретить? Мать всегда имеет право звонить сыну...

Она говорила громко и решительно, как человек, уверенный в своей правоте.

РАЗГОВОР С ЛЕОНТИЕМ КУЗЬМИЧОМ

(Вместо послесловия)

В морозные январские сумерки авиалайнером Москва—Вена я вылетал из Москвы в Израиль. А накануне вечером прощался с Россией. Прощался довольно странным образом — из окна такси, которое чудом мне удалось схватить на улице Веснина, у входа в Министерство иностранных дел. В последний день выяснилось, что не доделана масса дел, и в ту минуту, когда взмыленный от предотъездной суеты, с кучей документов, только что полученных в МИДе, я сел в машину, я вдруг подумал, что еду в московском такси в последний раз.

Завтра в шесть тридцать утра, после того как таможенники в последний раз обшарят мой багаж и я поднимусь по трапу в самолет, Россия перестанет для меня существовать. О завтрашнем дне стараюсь не думать, чтобы не лезла в голову всякая чушь по поводу того, какой еще сюрприз может преподнести мне КГБ перед отлетом в Вену. Здраво рассуждая, ничего неожиданного не долж-

но быть. Иначе зачем бы еще месяц назад пригласил меня к себе Леонтий Кузьмич и вел разговор, после которого я понял, что если власти и не считают затеянную игру проигранной, то, во всяком случае, не имеют желания продолжать ее дальше. И хотя после этого был еще один сюрприз — он относился, скорее, к области войны нервов и изменить ход событий уже не мог.

Принимал меня Леонтий Кузьмич в Колпачном переулке, в здании Московского ОВИРа. Пришел я туда совсем не для того, чтобы с ним встретиться, а для того, чтобы проводить мать, которая после долгих уговоров решилась наконец вместе с отцом подать заявление о выезде.

Шел девятый месяц после моего увольнения из "Литературной газеты". Я нигде не работал, меня нигде не печатали, почти никто из старых знакомых со мной не поддерживал отношений.

И вот, когда мы с матерью вошли в здание ОВИРа, я узнал, что с самого утра меня разыскивает инспектор Кошелева, из уст которой я уже трижды получал отказы в ответ на свои ходатайства о выезде. Затем появилась сама Кошелева и, страшно обрадовавшись мне, сказала, что меня срочно ждут на третьем этаже. На третьем этаже меня ждал Леонтий Кузьмич.

В кругу еврейских активистов эта личность была хорошо известна, хотя никто не знал ни его фамилии, ни должности и чина. По сведениям одних, он был генералом и начальником еврейского отдела КГБ, по сведениям других — заместителем начальника и полковником. Леонтием Кузьмичом его звали сотрудники ОВИРа, где он появлялся всякий раз, когда обстановка требовала его личного вмешательства. В день, когда он искал меня, на Центральном телеграфе началась голодовка евреев, требующих отпустить их в Израиль. Телеграф был мес-

том, где бывали иностранные дипломаты и журналисты. Это обстоятельство, вероятнее всего, и заставило Леонтия Кузьмича появиться в ОВИРе.

Но зачем ему понадобился я, который сам лишь по чистой случайности не оказался на телеграфе? Можно было предположить что угодно, но только не то, что именно Леонтий Кузьмич явится тем "добрым гением", который принесет мне долгожданную весть о разрешении уехать, и что в его лице я встречу не ординарного сталиниста-кагебешника, уже давно ставшего главным действующим лицом Самиздата, а личность, наделенную живостью ума и фантазией, в каком-то смысле даже философа, хотя не такого, разумеется, как Александр Борисович Чаковский.

Нет, совсем не случайно я пишу об этом "философе Лубянки".

Жизнь ввела меня во все сферы советского общества, и теперь,когда,порвав с прошлым,решил уехать в Израиль, я не мог не столкнуться со служителями "Архипелага".

Но что я мог о нем сказать после Солженицына? Вероятно, ничего — если бы со времен "Архипелага Гулага" остановилось время. Но оно бежит, и Россия, вступившая в эпоху научно-технической революции, совсем уже не та, что была при Сталине. И порядки в ней уже не те. И на место средневековых инквизиторов Берии и Абакумова приходят вполне респектабельные инженеры, дипломаты и комсомольские работники. Они не устают говорить, что к прошлому не будет возврата и что отныне неприкосновенность вашей личности навсегда гарантируется законом. Но все это так, пока вы согласны оставаться в рабстве. А стоит вам восстать, и вы тотчас окажетесь у входа в "Архипелаг", как оказался у его входа я, как оказывается каждый, кто мечту о свободе пытается сделать для себя реальностью.

Лицо у Леонтия Кузьмича было как у настоящего кагебешника — жесткое и ничего не выражающее, и, лишь когда я вошел, в этом стертом лице проснулось что-то живое и хитроватое, и в своем великолепно сшитом костюме Леонтий Кузьмич мне показался чем-то похожим на вылезшего из норы хорька.

— Ну, что вы на меня так смотрите, Виктор Борисович, будто хотите проглотить. Расскажите лучше, как поживаете, — свернул губы трубочкой Леонтий Кузьмич. — Я молчал в надежде понять, куда он клонит, но он меньше всего был расположен спешить. — Вот вы на меня так смотрите, а я хотел вам сообщить кое-что важное. Вы же хотите уехать? — изучал меня глазами Леонтий Кузьмич. — Хотите. И боролись за это. Ну так вот, я могу вам сказать, что скоро уедете. Надеюсь, вы понимаете, что это не официально. Мы ведь ничего не решаем, мы даже не комиссия, а только подкомиссия...

Он явно лукавил, ибо я-то знал, что Леонтий Кузьмич был как раз из тех, кто решал все. Именно потому, что он не заседал ни в одной из комиссий и не участвовал в работе ни одного официального органа. И, напротив, те, кто заседал в этих комиссиях и занимал целые этажи в ОВИРе и в Министерстве внутренних дел, не решали ничего.

Одной из таких "ничего не решающих" была инспектор ОВИРа Кошелева, приведшая меня к Леонтию Кузьмичу.

Первый раз она мне позвонила через два месяца, после того как я сдал в ОВИР необходимые для выезда документы. У нее был звонкий девичий голос, чем-то напомнивший мне голос секретаря Свердловского райкома комсомола, поручившей мне когда-то писать письмо

товарищу Сталину. Это было в пятницу вечером, когда я никак не ждал звонка из ОВИРа.

— Виктор Борисович, вы не могли бы зайти к нам в понедельник в 12 часов?..

В эту минуту я меньше всего подозревал, что с обладательницей этого голоса мне еще очень долго придется иметь дело, а лишь почувствовал в этом мраморном девичьем голосе что-то приподнятое и даже торжественное.

— По какому вопросу?

— У вас, по-моему, только один вопрос — это вопрос вашего выезда! — почти пела в телефон Кошелева.

— А что, уже есть решение?

— Да, есть решение!

— Простите, и какое же? — у меня явно не доставало сил расстаться с этим голосом. До понедельника была целая вечность, а Кошелева знала все.

— Какое решение? — мягко переспросила она. — А вот придете в понедельник и все узнаете.

Узнал я все от заместителя начальника Московского ОВИРа майора Золотухина, который, в отличие от Леонтия Кузьмича, всем своим обликом стремился подчеркнуть, что он и есть тот, от которого зависело все. Он сидел, подобно изваянию, и с неменяющимся каменным лицом разговаривал с каждым, кто к нему входил.

— Так вот, отказано вам, гражданин Перельман! Почему? Будто сами не знаете почему! Где работал в последнее время?

— Но я был журналист и не имел ни к чему доступа!

— Так-таки и ни к чему? В институтах бывал? Бывал! На заводах бывал? Бывал! В колхозах наших бывал? Бывал! Да вы ко всей нашей жизни имели доступ.

Назавтра меня принимал заместитель начальника Московского управления внутренних дел генерал Сорочкин. Он принимал меня в огромном кабинете с лепными по-

толками и, пока я говорил, лениво оглядывал меня щелками глаз,не проронив ни слова.И только,когда я кончил, тупо мотнул своей седой головой.

— Так что, вы хотите, чтобы я заживо сгнил в стране?

— Ну, зачем уж так? — почти совсем закрыл щелки глаз Сорочкин. — У вас есть выход. Пойдите к товарищам и, как говорят у нас в России, поломайте перед ними шапку. Вина у вас большая, но ведь и мы тоже не звери.

Я уверен, что подобное предложение никогда не могло исходить от Леонтия Кузьмича — для этого он слишком хорошо разбирался в людях. К тому же, тогда для него еще не наступило время действовать. Он вступил в игру позже, после того как я написал свою первую статью для Запада: "Размышления перед аукционом", которая открыто призывала советских евреев не платить выкупов при выезде из СССР.

Это была опасная игра, и я не мог не учитывать свои шансы. В лучшем случае пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят — что пронесет, пятьдесят — что окажусь в лагерях Потьмы.

Я не знал, как колебалась чаша весов, когда "Голос Америки" и "Би-Би-Си" по нескольку раз в день передавали статью, но ответный ход Московского КГБ не заставил себя ждать.

На площади Маяковского я встретился с московским корреспондентом "Нью-Йорк Таймс" Хендриком Смиттом, чтобы передать ему статью, не подозревая, что сотрудники Леонтия Кузьмича уже неотступно следили за мной.

Начать решили после того, как Смитт, попрощавшись со мной, сел в машину. Все происходившее, вероятно, было похоже на сцену из ковбойского фильма. Ни о чем не подозревая, я вошел в телефонную будку, чтобы позвонить, и в этот момент кто-то сзади зажал мне рот

и скрутил руки. Спустя секунду, я уже был в машине и только теперь увидел, что их было четверо. Я попробовал спросить в чем дело, но никто из них не ответил, лишь приказали, чтобы руки я держал впереди себя на спинке сиденья. Окна были зашторены, и машина с бешеной скоростью мчалась в неизвестном направлении. Более всего меня мучило то, что ни одна живая душа не знала о случившемся. Затем машина встала, и один из четверых скрылся в желтом каменном здании. После этого кто-то скомандовал, чтобы меня вывели. Руки приказали держать за спиной, и, препроводив по темной винтовой лестнице, втолкнули в пустую комнату с железной клетью вместо окна, и заперли снаружи на засов.

Когда стемнело, меня перевели в другую комнату, куда следом за мной вошел человек в штатском. Он сел за стол напротив меня, но вместо того, чтобы говорить со мной, попросил соединить его с кем-то по телефону. Я понял, что он намерен связаться с начальством. Мне даже кажется, что этим начальством был не кто иной, как Леонтий Кузьмич, и, по-моему, он даже несколько раз повторил: "Да, Леонтий Кузьмич, все будет сделано, Леонтий Кузьмич". Затем с воловьим упрямством стал выуживать из меня, о чем именно я говорил со Смиттом и что передал ему.

Вначале он старался казаться интеллигентом: "Какой смысл, Виктор Борисович, вам упорствовать, если мы все равно знаем, чем вы занимаетесь?" Затем перешел на крик: "Мы заставим вас заговорить, вы еще нас не знаете!" Но, не сумев ничего добиться, стал настаивать, чтобы я подписал какой-то протокол. Будь на его месте Леонтий Кузьмич, он бы, наверное, знал, как ему перестроиться, а у этого не хватило на большее фантазии, как отправить меня в КПЗ — камеру предварительного заключения. Затем втолкнули какую-то проститутку,

которая спьяну стала выяснять со мной отношения. В полночь в КПЗ вошел охранник и, молча сунув мне паспорт, сказал, что я могу быть свободным.

Выйдя на улицу, я с удивлением обнаружил, что весь вечер провел в Краснопресненском райотделе милиции, в самом центре Москвы.

Я решил напомнить эту историю Леонтию Кузьмичу. Думал, он от всего откажется и даст понять, что не имеет к этой истории никакого отношения. Но он не собирался отказываться, а только, сложив губы трубочкой, сказал:

— Интересно вы рассуждаете, Виктор Борисович, вы что, на Маяковской с девушкой гуляли? Отнюдь! Чистую антисоветчину на Запад передавали, вот что вы делали! В свое время вам бы за милую душу пять лет вкатили, а мы, как видите, не идем по этому пути. Социалистическая законность для нас не пустой звук!

История на Маяковской была только началом. И Леонтий Кузьмич тогда еще оставался в тени. Не прошло и двух недель, как он вышел на арену собственной персоной. Это было возле ливанского посольства, где мы решили устроить демонстрацию после убийства израильских спортсменов в Мюнхене. Здесь я впервые понял, что Леонтий Кузьмич меня знал раньше, чем я его, и что нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть к нему в западню. Все происходило на его глазах, и я решил спросить, помнит ли он эту сцену. Леонтий Кузьмич словно бы ждал этого вопроса, он развел руками и сказал: "Ну, уж насчет ливанского посольства — извините-помилуйте, там вы были сами виноваты!"

Виноваты? Мы действовали по закону и утром в день демонстрации обратились за разрешением в Моссовет. Из Моссовета нас послали в Комитет по делам физкультуры и спорта, поскольку "израильских спортсменов убили на Олимпийских играх". И когда мы приблизи-

лись к ливанскому посольству, нас уже ждал кордон милиции и два или три пустых милицейских автобуса.

Я уже не помню, кто первый мне показал Леонтия Кузьмича, кажется, инженер Виталий Раевский. Леонтий Кузьмич стоял в стороне с газетой в руках, будто не видя нас и не интересуясь происходящим. Но это только казалось, что он нас не видел, он наблюдал за каждым нашим движением. Когда мы приблизились к дверям посольства, он подошел к стоящему с ним рядом милицейскому полковнику и что-то ему сказал: я не слышал, что именно, но понял, что сказанное относилось ко мне. Потому что в одно мгновение полковник оказался рядом со мной и вполголоса скомандовал: "Этого берите, черного!" Двое или трое потащили меня к открытой дверце автобуса, и я снова услышал тот же голос: "Черного берите, остальных не надо!" И лишь теперь, когда одного меня пытались втолкнуть в пустой автобус, я понял, что за план созрел в голове Леонтия Кузьмича.

К счастью, это понял и Раевский, он вцепился, что было сил в меня сзади. Другие в свою очередь вцепились в него. И в это мгновение кто-то с силой ударил меня по лицу. Все дальнейшее не поддавалось объяснению. Обо мне словно бы вдруг забыли и начали избивать всех подряд, сбивали с ног, тех, кто падал, били сапогами по лицу... А Леонтий Кузьмич все с тем же невозмутимым видом прохаживался с газетой в руках, будто не замечая сцену, разыгравшуюся в пяти шагах от него.

Вечером, когда мы выходили из вытрезвителя на Войковской, куда нас силой доставили на автобусе, я вновь увидел Леонтия Кузьмича. Он опять стоял в стороне и лишь, когда у выхода из вытрезвителя собралась довольно внушительная группа поджидавших друг друга, позволил себе к нам подойти. В этой группе был академик Андрей Дмитриевич Сахаров, также участвовавший

в демонстрации и вместе со всеми доставленный в Войковский вытрезвитель. Он-то, очевидно, и привлек внимание Леонтия Кузьмича. Но никакого вида, что именно Сахаров привлек его внимание, Леонтий Кузьмич не показал, а, напротив, обратился сразу ко всем:

— Ну, что вы тут, друзья, стоите? Дети небось ждут, жены, а они вишь разговорились...

— А что, уж и постоять нельзя, Леонтий Кузьмич? — спросил кто-то из нас.

— Нет, почему же нельзя? — ответил Леонтий Кузьмич, — да только я не вижу смысла. Верно я говорю, Андрей Дмитриевич, или нет? — вдруг резко повернулся он к Сахарову...

Я думал, у Леонтия Кузьмича не будет желания все это вспоминать, а он, напротив, словно бы испытывал удовольствие от начатого разговора.

— Подумайте сами, Виктор Борисович, — вы, например, посол дружественного нам государства Ливана и каждый день слышите от руководителей Советского Союза выражение симпатий к вашей стране. И вдруг в один прекрасный вечер подходите к окну и видите толпу лиц еврейской национальности, намеревающихся побить вам окна...

— Но, Леонтий Кузьмич, существует же конституция?

— Экий вы, Виктор Борисович, чуть что — сразу высокие слова: конституция, демократия. Будто бы я против конституции. Весь вопрос, как ее использовать. Эдак ведь мы с вами дойдем до того, что, опираясь на советскую конституцию, начнем наших врагов поддерживать. Кстати, Виктор Борисович, кто был тогда у вас заводилой? — в стертом лице Леонтия Кузьмича вновь проснулось что-то хитроватое, и он опять стал похож на хорька.— Вы же не станете утверждать, что демонстрации вспыхи-

вают сами собой. Кто-то же был... И, между прочим, заводилу мы вполне могли бы привлечь к уголовной ответственности, эдак лет на шесть. Да уж ладно, дело прошлое...

После демонстрации у ливанского посольства КГБ уже не обходил меня вниманием, и свой следующий сюрприз Леонтий Кузьмич преподнес мне в день открытия очередной сессии Верховного Совета СССР, которая должна была утверждать Указ о плате за образование, и сюрприз Леонтия Кузьмича был прямо связан с этим обстоятельством. Я проснулся, как обычно, в семь, но когда снял трубку, чтобы проверить часы, обнаружил, что телефон выключен. Все выглядело довольно подозрительно, но, когда, позавтракав, я спустился вниз за газетой, то еще не подозревал, что обратно уже не поднимусь и в тот же день буду заключен в Коломенскую следственную тюрьму.

Как только я достал из почтового ящика газету, ко мне подошли трое в штатском, но, в отличие от тех, что действовали на Маяковской, эти были исключительно вежливы:

— Виктор Борисович! Вот вы-то как раз нам и нужны. Не могли бы вы проехать минут на десять в райотдел милиции, хотят там с вами побеседовать.

— Но, позвольте, я в домашних туфлях!

— А ничего, Виктор Борисович, в машину сядете и не замокните...

Эту сцену я рассказываю Леонтию Кузьмичу во всех подробностях, и он весело и бесшумно смеется:

— Вот, сукины дети! Так и взяли в тапочках! Ну, хоть не простудились, Виктор Борисович?

От этого бурного проявления сочувствия у меня пропадает всякое желание говорить дальше.

В этот день арестовали пятьдесят шесть человек. Одних брали на улице, других — дома, поднимали прямо с постели.

"Товарища", который хотел со мной побеседовать, в милиции не оказалось, а когда он появился, маленький и упругий, в сопровождении двух понятых, у меня не оставалось сомнений, какого рода беседа меня ждет. В отличие от многословных "интеллигентов", бравших меня у дома, он был краток и деловит:

— Вывернуть карманы! Обыскать! Протокол обыска подпишете? Нет? Ваше дело!

Через час, запертого в "черный ворон", вместе с профессором-экономистом Владимиром Машем, биологом Заславским и художником Файнгольдом меня везли в Коломну. Нас арестовали, не предъявив ни одного документа, и мы не знали, сколько нас продержат. Схватили, словно банду террористов из "Черного сентября", и бросили в тюрьму. Я лежал в пропитанной хлоркой камере и думал о том, в каком идиотском мире я живу. Человек, как пешка: хотят — посадят, хотят — выпустят...

На голых нарах, в пропитанной хлоркой камере невозможно было уснуть, а когда я не сплю, то обычно в голову лезут фантазии и всякие альтернативы: что бы могло случиться в жизни, поступи я не так, а эдак. В сущности, этой камеры могло бы тоже не быть, если бы все вернулось назад. И не было бы этой собачьей жизни, и этой мучительной неизвестности, а было бы все, как раньше, благополучно и безоблачно.

В эту ночь я почти физически почувствовал необратимость времени и жизни: как бы моя жизнь ни повернулась, я никогда не пожалею о сделанном, ибо обрел уже нечто такое, без чего не смогу существовать. В последнее время я не уставал себе говорить, что превыше

всего для меня свобода. Но только в эту ночь, в тюрьме, кажется, впервые понял, что она такое. Понял, во всяком случае, главное, что свобода не вовне, а внутри нас. И потому можно валяться в пропитанной хлоркой камере и быть свободным, а можно занимать пост главного редактора "Литературной газеты" и оставаться рабом.

Леонтию Кузьмичу я, разумеется, ничего подобного объяснить не могу и, скорее, по инерции продолжаю:

— А как же, Леонтий Кузьмич, уголовно-процессуальный кодекс? Сажать без предъявления обвинения не полагается?..

— Не полагается, — соглашается Леонтий Кузьмич и, чуть улыбнувшись, продолжает: — Мало ли что в жизни не полагается. Вот вы, сколько статеек в буржуазную прессу написали? Полагается это или не полагается?

Я молчу, и Леонтий Кузьмич, вдруг снова оживившись, говорит:

— Да, что это мы с вами все про это? Я ведь пригласил вас, чтобы сообщить приятную весть. Хотим, Виктор Борисович, отпустить вас в Израиль. Так что на телеграф вам идти не к чему. Ваш вопрос решен.

Он внимательно наблюдает за мной и улыбается какой-то странной осторожной улыбкой.

— С другой стороны, может быть, вам и есть смысл туда сходить — объяснить товарищам, что их глупое сидение ни к чему не приведет. Авторитет у вас большой, ваши товарищи вам верят...

В этот момент я впервые почувствовал, что у меня действительно есть разрешение и Леонтий Кузьмич, проиграв игру, хочет сорвать с меня последнюю плату. Любопытно, когда именно у них не выдержали нервы? Вернувшись из Коломны, я написал о происшедшем фельетон "Черный сентябрь" на улицах Москвы" и передал его на Запад. И затем уже писал статью за статьей. Почти

каждую ночь я разговаривал с Лондоном и Нью-Йорком. Все это, конечно, было известно Леонтию Кузьмичу. Но нервы у него сдали позже, в ночь с воскресенья на понедельник, когда его люди перерубили телефонный кабель в моем доме на улице "Правды". То есть я, конечно, не знаю, как они выключали телефон, но они явно нервничали. И все из-за того, чтобы не дать нам, группе московских активистов, выступить перед участниками еврейской демонстрации в Нью-Йорке.

Демонстрация была назначена на понедельник, но неожиданно позвонили в воскресенье и сообщили, что она переносится на ближайшую ночь. Времени у Леонтия Кузьмича было в обрез, и он не мог позволить себе рисковать. Примерно без четверти двенадцать ночи телефон в моей квартире перестал работать. Утром я позвонил в бюро ремонта и страшно огорчился, когда услышал ответ: глубокое повреждение кабеля. Такой ответ обычно получали еврейские активисты, когда у них выключали телефон. Но чуть не расхохотался, когда позвонила в дверь соседка снизу и спросила: "У вас работает телефон? Понимаете, позвонила в бюро ремонта, и мне сказали: "Глубокое повреждение кабеля".

Да, на этот раз люди Леонтия Кузьмича явно переусердствовали. Желая прервать нашу связь с Западом, они одновременно выключили около двух тысяч аппаратов в районе "Правды" и Ленинградского шоссе.

Связь прервалась даже в издательстве "Правда", расположенном неподалеку от моего дома. Долго это продолжаться не могло, и спустя день или два телефон мой благополучно заработал.

Боялся Леонтий Кузьмич, разумеется, не меня. Он боялся Запада, вставшего на защиту советских евреев. Это было движение и в нашу защиту — горстки еврейских

активистов, отстаивающих одно из самых естественных прав человека.

Однажды утром жена пригласила меня к телефону, и голос на великолепном английском языке сказал, что со мной хочет говорить сенатор Хампфри, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки. Я сразу даже не понял, откуда звонили. Оказалось, что сенатор находился в Москве и встречался здесь с Косыгиным.

Мистер Хампфри рассказал мне о своей беседе с советским премьером и о том, что от имени сената Соединенных Штатов он требовал облегчить нашу участь. В этот вечер меня очередной раз схватила милиция (это были дни, когда агенты КГБ не отходили от моего дома), а через несколько дней в американской печати появились сообщения, что по просьбе сенатора Хампфри советское правительство решило дать мне разрешение на выезд. Не думаю, чтобы это было так, потому что с Хампфри я говорил уже после встречи с Леонтием Кузьмичом и сообщения в западной печати лишь подтвердили, что он не лгал.

И я в те дни понял, что низведенные до положения париев и живя под вечной угрозой ареста, мы являлись в то же время частицей свободного мира. Мы жили по его законам и под его защитой, и одна эта мысль удесятеряла силы. Но я забегаю вперед, так и не рассказав, чем кончился разговор с Леонтием Кузьмичом. Между тем он перешел к главному, после чего я, кажется, понял, отчего этот полковник или генерал КГБ решил вдруг предстать передо мной в лике "доброго гения".

— Я знаю, вы умный человек, — продолжал Леонтий Кузьмич. Та же странная осторожная улыбка теперь не сходила с его лица. — А с умными людьми всегда приятно иметь дело. Вот вы скоро уедете в Израиль, займете там определенное положение, и, знаете, мы совсем не про-

гив, чтобы вы заняли там положение, — словно обнюхивая меня, продолжал Леонтий Кузьмич... — Мы даже, если хотите, Виктор Борисович... — Он не кончил фразу, по-видимому, учуяв в моем лице нечто такое, что вдруг сделало бессмысленным то, что он говорил прежде. И уже другим, обиженным, как мне показалось, голосом сказал: — Конечно, это дело личное...

— Что, дело личное, Леонтий Кузьмич? — мгновенно спросил я.

— А ничего, Виктор Борисович, абсолютно ничего, — свернул губы трубочкой Леонтий Кузьмич. — Просто я хотел сказать, что у каждого в жизни свой путь. У нас — свой, а у вас — свой. Помните, как реагировали прохожие в тот раз у ливанского посольства? Помните или нет?

Я отлично помнил то, о чем говорил Леонтий Кузьмич. Собственно, это были даже не прохожие, а толпа зевак, собравшихся на скандал. Я видел, как один, выскочив из пивной, что была тут же за углом, стал дергать собравшихся за рукава и с каким-то веселым азартом покрикивать: "Товарищи, кого лупцуют? Еврейчиков, да кто ж такие?"

— Сионисты, кто такие, — ответили из толпы.

— Да, откуда они сюда попали-то, на Самотеку?

— Из Израиля, откуда ж еще.

Позже я часто вспоминал этот диалог, услышанный мной в центре Москвы в век индустриальной революции. Это был даже не антисемитизм, а нечто более страшное...

— Люди были вами очень возмущены, — продолжал Леонтий Кузьмич, — а ведь это были не сотрудники КГБ и, скорее всего, даже не коммунисты, а обычные советские люди. Они просто не понимали, чего вы хотите. И в России вас никогда не поймут.

В этом он был действительно прав. Потому я и решил уехать, что всю жизнь чувствовал себя чужим в России.

Мне было легче. У меня была своя страна и свой путь в жизни. Но те, кто остался? Кто готов был идти на все, чтобы разбудить Россию? Знали ли они, что нужно России? Что нужно толпе, глазевшей, как "лупцевали еврейчиков" возле ливанского посольства? Что нужно толстухе-парикмахерше, возмущавшейся "подлыми чехами", которых кормил "русский Иван"? Конечно, Россия не только они, но они — прежде всего Россия, миллионы советских тружеников, о которых с такой гордостью говорил Леонтий Кузьмич. Он-то знал, что "нужно" России. Так же как знали те, кто управлял страной из цековских и совминовских кабинетов. И не было ничего удивительного в том, что они знали Россию. Сколько бы ни называли их советской аристократией, они вышли из рабоче-крестьянской гущи, были детьми той самой кухарки, которую Ленин мечтал научить управлять государством, но научил лишь править себе подобными.

Расстались мы с Леонтием Кузьмичом вполне корректно. В заключение он снова повторил мне, что вопрос обо мне решен, и лишь, когда прощались, на секунду задержал мою руку в своей мягкой руке, и сказал:

— Ну, уж лично вам на телеграфе теперь делать нечего.

Вечером у меня собрались друзья. Пили за мое разрешение и за то, чтобы скорее уехать. Хотелось расслабиться и забыть обо всем, но это плохо удавалось: где-то во мне жило нехорошее предчувствие, что Леонтий Кузьмич все же припас для меня последний ход на нашей шахматной доске. Я передумал все, и единственного не мог предположить — что само разрешение, которого я так добивался, и будет последним ходом Леонтия Кузьмича.

А через две недели меня, действительно, вызвали на комиссию. Заседали человек десять, а может быть, и больше. Все скучали, позевывали и лишь заместитель

начальника Московского ОВИРа, майор Золотухин, оглядел меня все с тем же видом вершителя человеческих судеб. Генерал Сорочкин, приоткрыв щелки глаз, зачитал мое заявление о выезде и сказал, что есть предложение удовлетворить.

— Возражений нет? — лениво обвел он глазами присутствующих.

— Нет! — отрубил майор Золотухин.

Назавтра мне позвонила Кошелева, чтобы сообщить, какие документы я должен представить для получения визы. И по тому, каким радостным, звонким голосом она сказала: "Виктор Борисович, возьмите, пожалуйста, карандаш и пишите", — я почувствовал, что не когда-либо, а именно сейчас последует последний ход Леонтия Кузьмича.

— Так вот, — говорила Кошелева, — паспорт, трудовую книжку, справку из ЖЭКа о сдаче квартиры, квитанцию об уплате госпошлины, ну... и, — голос Кошелевой неожиданно стал вдруг мягче и женственнее. — Ну, и, Виктор Борисович, квитанцию о внесении вами платы за образование в сумме 15 тысяч рублей. Закон есть закон. Если хотите, я вам расшифрую эту сумму. За Юридический институт — 4800, за Полиграфический — 3600...

Лучшей западни невозможно было придумать — выдать мне визу и заставить заплатить выкуп, то есть сделать то, что в моих устах не имели права делать другие. Оставалось лишь поражаться, отчего я — специалист по "советскому образу жизни" — не предвидел этого раньше. Назавтра позвонили из Нью-Йорка и попросили назвать точную сумму, которую требует ОВИР, чтобы выслать мне. И, может быть, оттого, что так просто оказалось выполнить требование властей и обрести покой и свобо-

ду, которых я столько добивался, я еще больше укрепился в своем решении не платить.

В заявлении на имя министра внутренних дел Щелокова я писал, что, поскольку власти ставят выдачу мне выездной визы в Израиль в зависимость от уплаты мной выкупа, я решил отказаться от визы. Даже многие из друзей не могли понять, как я решился на этот "безумный" шаг. "Конечно, — говорили они, — все кончилось хорошо, но властям с их обостренным чувством престижа ничего не стоило принять твое заявление к сведению и по твоему собственному желанию навсегда заточить тебя в России".

Другие, напротив, соглашались со мной, говорили, что я проявил мужество. И лишь для самого меня все выглядело куда проще. Одну ценность я не мог принести в жертву другой. И сколь бы ни был трудным мой путь к свободе, обретенная ценой непорядочности, она для меня переставала чего-нибудь стоить. К тому же в глубине души я был уверен, что Леонтий Кузьмич, уже признавший, что его ставка бита, отступит и на этот раз. Мне нелегко объяснить, почему я был в этом уверен. Вероятно, это относится к психологии властей, точнее, к моему пониманию этой психологии. Честная и открытая игра — это, пожалуй, единственное, чему они не были способны противостоять.

Поэтому, наверное, из всех, кто затаив дыхание следил, что будет со мной и с моей злосчастной визой, я был наиболее спокоен. И когда спустя неделю меня снова вызвали на комиссию, чтобы освободить от налога за образование, я воспринял это почти как должное.

С Леонтием Кузьмичом я больше не виделся. Что же касается комиссии, то она была такой же скучной, как в первый раз. Генерал Сорочкин, едва приоткрыв глаза, сообщил, что я обратился к министру внутренних дел

Щелокову с просьбой освободить меня от платы за образование (о том, что я отказался от визы, он даже не упомянул).

— Сколько у вас, Перельман, трудовой стаж? Двадцать один год, мы слышали?

— Двадцать один год, — подтвердил я. — Но дело не только в этом...

— Есть предложение освободить, — сказал он. — Возражений нет?

— Нет! — снова ответил за всех майор Золотухин.

— А вам, Перельман, — вдруг повернулся ко мне Сорочкин, — я советую изменить свое отношение к вопросам выезда. А то как бы не пришлось раскаиваться.

Но если бы я и захотел внять советам Сорочкина, то у меня для этого все равно не осталось бы времени. Позвонила Кошелева и на этот раз уже безразличным голосом сказала, чтобы я принес две фотографии на визу. Это была странная просьба — вместе с документами на выезд я сдал не две, а целых восемь фотографий.

— Видите ли, — объяснила Кошелева, — ваше дело столько путешествовало, что исчезли все фотографии. Куда исчезли мои фотографии, я примерно представлял, но то, что их потребовалось столько, привело меня в веселое настроение. Когда-то в конце концов оно должно было ко мне вернуться.

А еще через два дня я взял билет на самолет Москва—Вена. И теперь, когда я в последний раз ехал в московском такси, понимая, что уже ничто не остановит моего отъезда, я впервые за долгое время ощутил нечто такое, чего раньше никогда не чувствовал. Да, я еврей и уезжаю в Израиль, потому что каждый человек должен жить со своим народом. И еще я уезжаю потому, что не хочу больше жить в мире, где у меня не было и никогда не будет свободы. Человек не создан для тюрьмы. Он уходит

из нее, чтобы больше никогда туда не вернуться. Все верно, но верно и то, что завтра я навсегда расстанусь с миром, которому отдана лучшая часть жизни. И,возможно, поэтому мне не безразлично его будущее. Мне трудно в него поверить, как трудно поверить в бойкую необгонимую тройку, с которой сравнивал некогда Россию Гоголь. Тройка была прекрасна, но в бричке сидел Чичиков. Эта маленькая подробность, ядовито подмеченная Белинковым, почему-то никогда не упоминалась советскими авторами, хотя, быть может, именно в ней заключена трагедия России.

СОДЕРЖАНИЕ

Отрицание отрицания 3
Московское Радио 6
Первый фельетон 11
Докажите, коли сумеете 16
Дело Абрама Великовского 24
Совесть партии 36
Расплата 49
Никита Иванович и другие 54
Надо жить 67
Aqua pura 72
Столоверчение 82
Скорняк поневоле 94
Снова бунт 101
...И снова иллюзии 114
Самая еврейская газета 119
В "черном списке" 123
Дебют 126
Литературный репортер 130
Неуправляемые ассоциации 136
Репликист Миша Синельников 138
Лимит на Пастернака 145
Комедианты 151
Правда и ложь "Литературки" 155
Гайд-Парк при социализме 163
Александр Чаковский 166
Горечь свободы 170
Последний день 182
Разговор с Леонтием Кузьмичом (вместо послесловия) 189

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская
Технический редактор Белла Немировская

Издательство "Время и мы"
ул. Нахмани, 62/9, Тель-Авив
Тел. 621085.

62/9 Nachmani st. T. A.

Фотолитография Ор-Хай. П. Я. 36483. Т.—А. Тел. 625640

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Виктор Перельман — журналист и писатель, главный редактор журнала "Время и мы". Родился в 1929 году, в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты "Труд", заведующим отделом и специальным корреспондентом "Литературной газеты".

В 1973 году выехал в Израиль. На Западе выступал в газетах "Нью-Йорк Таймс", "Стампа", "Фиера леттерариа", "Едиот Ахронот", "Давар", "Русская мысль" и других.

Книга Виктора Перельмана "Покинутая Россия" удостоена второй премии Иерусалимского университета.